

## История русской литературы (от первых памятников до татарского ига)

Если в понятие литературы внести широкое понятие художественного творчества народа в слове (а не только в письме), то первым фактом такой истории должно стать изложение народной словесности, существовавшей искони до письма. Так обыкновенно начинают историки. Это естественно там, где затем письменность развивалась из этого основания. У нас этого не было: народная поэзия, при самом начале письменности, подверглась гонению книжников и существовала в устном предании до первых записей в XVII веке, лишь отрывочно и случайно отражаясь в памятниках письменности. В устном предании она дошла до нашего времени, пережив историческую судьбу народа, многое совсем утратив, а многое сохранив в очень измененной форме. Русская письменность начинается с христианства. Первые книги и грамота явились в церковной жизни, вероятно, еще до Владимира Святого, так как уже были написаны договоры Олега и Игоря с греками. Первые книги были богослужебные и церковно-поучительные, взятые у предваривших русский народ в христианстве болгар (и мораван?) и писанные на старославянском языке, ставшем церковным. Этим определилась первая форма литературного языка русской письменности. Первые книжники были служители церкви, которым грамота была необходима для исполнения их служения. Их первые писания направлялись в особенности на церковное поучение, почему в этой области письменности надолго, частью даже доньше, утвердилось господство церковнославянского языка. Но этот язык, хотя и близкий, был все-таки чужим наречием, и в письменном употреблении у русских с первых же шагов сказалось и влияние родной речи: переписывая южнославянские (и моравские?) книги, русский писец невольно (а иногда и намеренно, чтобы быть более понятным своему русскому читателю) видоизменял церковнославянскую фонетику и грамматические формы на русские, заменяя и самые слова русскими. С другой стороны, грамота нашла применение в делах правления и во всем том, что требовали записи: слово «грамота» (с греческого) стало названием правительственного распоряжения, частной сделки, в народном языке (и доньше) — названием письма. Грамота стала средством письменности не только церковной, но и светской, гражданской, стала средством литературы. Распространение грамоты с самого начала было предметом заботы князей. Владимир Святой основал первую школу. Не видно, чтобы потом школьное дело получило правильную постановку; оно оставалось предметом лишь отрывочных попечений князей, епископов, монастырей; учение шло и частное. Вероятно, с этой поры установилось обучение по букварю, часослову и псалтыри, удержавшиеся до наших дней. Впоследствии упоминаются специалисты обучения — «мастера» (в Новгороде). Во всяком случае, грамотность росла; книги были нужны для умножавшихся церквей и монастырей, для дел правления, наконец, для частных дел и любознательности. Были ревнители книжного дела не только между князьями, но и между княгинями; уже в первые века собирались библиотеки. Таким образом, первой основой просвещения было христианство. Источником новой веры, знаний, умственных и нравственных возбуждений была Византия, как прямо, так и посредственно: прямо, потому что русская церковь в первые века была подчинена константинопольской патриархии, и первые митрополиты были греки, приходившие, без

сомнения, с греческой свитой и клириками (частью, вероятно, также южнославянами); посредственно, потому что первые церковные книги, послужившие основанием русской грамоты и литературы, были южнославянские и моравские переводы с греческого, начиная с переводов Святого писания и богослужебных книг святого Кирилла и Мефодия. С течением времени количество этих произведений все возрастало: в древнюю Русь приходили новые труды письменности южнославянской, затем появляются и собственные труды. Воздействие южного славянства продолжалось в течение всего древнего периода и до половины среднего; последние его факты принадлежат XV столетию. Русские книжники также переводили с греческого, учась языку от приезжих греков; при чрезвычайном распространении паломничества, книжники бывали в Константинополе, на Афоне, приносили книги, а также и легенды. Так собралась обширная литература церковного содержания, составляющая наибольшую долю древней русской письменности: книги Святого писания и толкования к ним, церковные уставы, книги богослужебные, творения святых отцов, догматические и учительные, жития святых, в отдельности и целыми собраниями (Патерики, Прологи), переводы греческих летописцев (Амартол, Малала, Манассия), сборники мудрых изречений и т. д. Эта литература имела видное историческое значение. При слабом развитии школы и других сторон литературной деятельности, церковная письменность оставалась, в течение веков, главной, почти единственной пищей, нравственной и умственной, для русских книжников, а при их посредстве — и для самого народа, когда после известного периода «двоеверия» христианство, хотя в популярной форме, возобладало над умами. Церковное мировоззрение, на разных степенях понимания и чувства, стало всеобщим и, рядом с непосредственным влиянием церкви, сильно содействовало образованию народного характера. Народ стал понимать себя как «святую Русь». Это представление уже с первых веков нашей истории возымело великое значение и в международных столкновениях с Востоком, и в самое время татарского ига, внушая русскому народу, при всех бедствиях, чувство превосходства над всеми «погаными» и «неверными» и давая ему нравственную силу в тяжелых исторических испытаниях. Здесь развивался и нравственный мотив для основания русского царства. Была и обратная сторона: как церковное благочестие, так и эта письменность, не просвещенные и не уравновешенные школой, впадали в обрядовую внешность, крайнюю исключительность, которые впоследствии, в московском периоде, развились в нетерпимость, мешавшую самим успехам образования. С другой стороны, церковная письменность получала значение междуславянское: в ней собралось почти все содержание южнославянской православной письменности, болгарской и сербской. После падения южнославянских царств, в конце XIV века, их литературная деятельность стала падать и наконец совсем заглохла, так что их древнее наследие сохранилось только в письменности русской. Как с возвышением Московского царства, сюда стали направляться политические ожидания православного Востока, а также славянского юга, так последний находил в единстве церковной письменности залог общения. Наконец, эта письменность послужила школой для русских писателей: из Святого писания, отцов церкви, житий святых они почерпали и содержание, и форму, и стиль своих произведений. Славные учителя, Василий Великий, Григорий Богослов, Златоуст, были великими образцами и авторитетами в церковном поучении; жития и легенды дали образец душевного спасения; в рассказе летописи неизменно приводятся примеры и поучения из Писания, отцов церкви, византийского хронографа; сама история представляется исполнением Божественной воли, в благополучии — Божьей милостью, следствием молитвы и заступничества святых угодников, в бедствии — наказанием за грехи. В таких условиях начиналась литература. Как во главе русской иерархии стояли первые митрополиты-греки, так они стоят в ряду первых русских писателей, в переводах. Таковы были в XI веке Леонтий, Георгий (около 1065-79), Иоанн II (1080-89), в начале XII века — Никифор (1104-1121). С половины XI века являются и первые русские писатели, из церковного круга и в том направлении, которое определялось церковным служением. Это были Лука Жидята, новгородский архиепископ (1035-59), первый поставленный из русских, по воле великого князя

Ярослава, автор краткого поучения о христианской нравственности, и первый митрополит из русских, поставленный по воле того же Ярослава, Иларион (около 1051-54), автор поучений и похвалы князю Владимиру. Жизнь и школа древних писателей русских обыкновенно малоизвестна; некоторые из них в это первое время обнаруживают вместе с дарованием и большое искусство стиля. Таков был Иларион: он воспитался на византийских образцах, но достигал истинного одушевления и красноречия. Киево-печерский игумен Феодосий (1062-74) был автором нескольких поучений, посланий (к великому князю Изяславу) и молитв; указаны греческие образцы некоторых поучений, носящих в рукописях его имя. Рядом с поучениями общего церковного характера, в XI веке мысль писателей обращается к самой русской жизни, в форме жизнеописания святых подвижников и в опытах истории. Таковы были описания Иакова Мниха, которому принадлежат житие и похвала князю русскому Володимиру и житие святых страстотерпцев Бориса и Глеба, и писания знаменитого Нестора Летописца (родился 1056, умер около 1114), который составил другое житие Бориса и Глеба, житие Федосия Печерского и сказание о перенесении его мощей; ему же приписывалось написание «Повести временных лет». В Киево-Печерском Патерике, заключающем жития печерских подвижников, упомянут именно «Нестор, иже написа летописец»: в Патерик вошли его сказания о печерских подвижниках, как и в летопись, но самая повесть, как теперь вообще полагается, в ее ныне известном объеме, составлена не им. Князь Владимир, утвердивший русское христианство, был уже ближайшим поколением понят как великое историческое лицо и послужил предметом нескольких житий и восхвалений: летопись сообщила и сказания, получавшие уже легендарный характер, о самом крещении князя Владимира и русского народа. Для потомства князь Владимир стал святым и равноапостольным, для народной поэзии — ласковым князем и Красным Солнышком, средоточием богатырской былины. На рубеже двух столетий стоит писатель-князь Владимир Мономах (1053-1125). В Лаврентьевском списке летописи, под заглавием «Поученье», соединены три сочинения Мономаха: Поучение детям, Послание к князю Олегу Святославичу и молитва. Поучение в высокой степени любопытно, как произведение древнего русского князя, игравшего деятельную историческую роль; здесь отразились и его нравственные начала, и черты княжеского быта; поучение замечательно и живым языком, свободным от церковной книжности. В половине XII столетия действовал Климент Смолятич, киевский митрополит, избранный без сношения с константинопольским патриархом (и потому не признанный некоторыми князьями и епископами). Древняя летопись говорила о нем, как о философе и книжнике, какого еще не бывало в русской земле; имя его, однако, было потом мало известно. В последнее время издано его Послание к смоленскому пресвитеру Фоме, посвященное толкованию писания. По наклонности к притчам и прообразам, он считается предшественником Кирилла Туровского, как бы представителем особой литературной школы, а по форме послание является началом тех вопросо-ответных произведений, которых образчиком была чрезвычайно потом распространенная «Беседа трех святителей». Сочинения Кирилла, епископа Туровского (жившего около 1130-82 гг.), своими особыми достоинствами могут действительно внушать мысль о литературной школе. Уроженец города Турова и сын богатых родителей, он принял пострижение и святостью жизни приобрел великое уважение; он заключился даже в «столпе», куда перенес и свои книги. Киевский митрополит, по просьбе князя Туровского и жителей, поставил его епископом Турова. Его писания состоят из молитв, сочинений об иноческой жизни и «слов» (с достоверностью считают принадлежащими ему восемь или девять «слов»). «Слова» Кирилла Туровского, еще более нежели поучения Илариона, представляют чрезвычайно замечательное, даже единичное явление в древней письменности по их высокой литературной обработке. Старые книжники, с той поры и после, вообще близко держались греческих (переводных) образцов, но Кирилл, хотя также отчасти с ними связанный, является самостоятельным писателем крупного дарования: это — оратор, знакомый с приемами искусства. Новейшим исследователям древнего периода он кажется почти загадкой или явлением исключительным: это — ученик византийских

церковных ораторов, но вообще он своих образцов не повторял. Едва ли кто из последующих церковных ораторов может сравниться с Кириллом по изяществу речи, принимающей иногда и поэтические оттенки. Древнему периоду принадлежат еще несколько других произведений замечательного достоинства: они свидетельствуют о живом поэтическом творчестве, еще не подавленном церковно-аскетическими запрещениями, и о разнообразных литературно-народных интересах. Таково, во-первых, знаменитое «Слово о полку Игореве», повествующее, как настоящая поэма, о походе князя Игоря против половцев, в конце XII века. Это — произведение единственное в своем роде во всей допетровской письменности, произведение высокого достоинства, к удивлению — не оставившее никакой поэтической традиции: в древней письменности мало следов его влияния. Найденное случайно в конце XVIII века гр. А. И. Мусиным-Пушкиным в рукописи XV-XVI века, сгоревшей потом в пожаре 1812 г., «Слово» было издано весьма неумело. С тех пор оно вызвало множество изданий и комментариев; последние приобретают некоторую почву только теперь, с развитием изучения народной поэзии, к которой «Слово» различным образом примыкает. Оно открывается обращением к «соловью старого времени», вещему Бояну, и дает нам красивый, хотя неясный, намек на старого народно-дружинного певца. Рассказ о походе, о битве, о скорби покинутой Ярославны исполнен поэтическими чертами редкой красоты, параллели которых отыскиваются теперь в народно-поэтическом предании. «Слово» было написано книжником, над которым, однако, еще властвовала народно-поэтическая стихия, почему рядом с «Богородицей Пирогощей» являются на сцене Даж-бог, Хорс, оборотень Всеслав, народное причитание, призывы сил природы и т. д. Автор «Слова» — вместе с тем горячий патриот: он с гордой радостью вспоминает имена князей, прославлявших русскую землю, и, рассказывая о поражении и плене князя, скорбит о раздорах, которые делят русскую землю и отдают ее насилию поганых. Во всей поэме неизменно господствует тон высокого одушевления. Отрывочный остаток княжеской литературы древнего периода представляет «Слово» или «Моление» Даниила Заточника, обращенное к князю Ярославу Всеволодовичу, вероятно, в первой четверти XIII века. Это — моление провинившегося дружинника, сосланного на озеро Лаче: но Даниил был человек книжный, и свое моление обставил нравоучительными текстами из Писания, народной мудростью и замысловатым остроумием, вследствие чего личное послание стало весьма распространенным памятником литературы нравоучительных изречений. К началу XII столетия относится замечательный памятник древней письменности — «Хождение» Даниила игумена, ходившего в Иерусалим в 1106-1108 годах. Паломничество стало распространяться с первых веков русского христианства, и до такой степени, что церковная власть нашла нужным воздерживать странников (чтобы противодействовать бродяжничеству), объясняя, что душу можно спасти и дома доброй жизнью (так — в «Вопросах Кирика» к архиепископу Нифонту). Паломники, как особый разряд людей, подлежали церковному ведению и суду. «Хождение» Даниила, впоследствии самый распространенный памятник паломнической литературы, занимает в ней первое место и по своему литературному достоинству. Оно проникнуто благочестивым настроением, написано «верных ради человек», чтобы, слыша о святых местах, о них скорбели и получили равную мзду с теми, кто доходил до них. Автор прибавляет, однако, что большую мзду можно получить, оставаясь дома добрыми людьми. В Святой земле у Гроба Господня, Даниил молится за русскую землю и русских князей. Рассказ его отличается точностью описаний и полной верой в легендарные сказания, какие он раньше знал и здесь слышал и в которых, как в то же время в летописи, мы имеем первые свидетельства о широко распространенной потом апокрифической литературе. Около 1200 г. странствовал в Царьград новгородский архиепископ Антоний, в миру Добрыня Ядрейкович (Андрейкович). Антоний видел в Царьграде только нескончаемое множество святынь, великолепные храмы, наполненные священными предметами библейской и евангельской истории, мощами святых и мучеников и пр., — и хождение его опять сполна принадлежит области легенды и апокрифического сказания. Кроме исторического значения в судьбах русской древней письменности, хождение Даниила



имеет большое значение для исследований палестинской топографии и археологии, а хождение Антония доставляет важные указания для археологии Царьграда. Из этого периода сохранились еще любопытные летописная запись от 1163 года (с продолжением от 1329 г.), как в том году из Великого Новгорода от святой Софии ходили 40 мужей-калик ко граду Иерусалиму, ко гробу Господню, как они гроб Господень целовали и рады были, взяли у патриарха благословение и святые мощи, и принесли их в Новгород; невольно вспоминаются при этом сорок калик в былине. Наконец, замечательным памятником древнего периода была летопись. Основанием ее была знаменитая «Повесть временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первое книжити и откуда русская земля стала есть». По новым исследованиям, «Повесть» не была первым началом летописания; ей предшествовал свод известий, составленный в Киеве в половине XI столетия на основании русских записей и греческих источников. Впоследствии «Повесть», имевшая не одну редакцию, стала обычным началом летописи, в ее различных разветвлениях. Где было начало летописи, кто были летописцы? Эти вопросы вызывали разные решения; писцами, которые несколько раз себя назвали, были духовные лица, от игумена до пономаря; классическим древним летописцем представляется монах Нестор, как в поэтической реставрации Пушкина — монах Пимен; древним средоточием летописания является монастырь, но в том его значении (особливо Печерского монастыря в Киеве), какое имел он в Киевском периоде: монастырь был уже ознаменован святостью подвижников, он был близок к князю как нравственный, затем и политический авторитет; в нем собраны были ученые книжники, в нем стекались известия. Некоторые исследователи полагали, что по живости политических интересов летопись может считаться именно делом самих городов. Как бы то ни было, древнейшая летопись свидетельствовала о живой литературной деятельности и широких интересах. Летописец, почти единственный раз в древней письменности, хотел дать понятия о целом славянском племени; он исчисляет русские племена, с любовью собирает предания о древних князьях, приводит документы княжеского архива (договоры Олега и Игоря), рассказывает о печерских подвижниках, дает нередко живой рассказ о событиях текущих. Все это освещено благочестивым настроением. История начинается с библейского рассказа о сотворении мира; после Вавилонского столпотворения, когда языки разделились, в Иафетовом племени выдвинулось славянство, и среди его племен — русский народ. Вся история совершается по воле Божьей: княженья и народ держатся милосердием Божьим и молитвой; за грехи Бог казнил всякими бедствиями — голодом, мором, трусом и нашествием иноплеменных. Летописец восхваляет князей благочестивых и книжных. Старейшая летопись, веденная в Киеве, и летопись галицко-волынская отличаются от позднейшего летописания своей народной свежестью. Как христианин, и вероятно, лицо духовное, летописец не дает внимания тому народному быту, в котором хранились еще остатки язычества, но он с любовью рассказывает предания исторические о первых князьях, о борьбе с иноплеменниками, о первых святых подвижниках; у него еще хранится память о целом славянстве, к которому принадлежит русский народ; он рассказывает о начале славянской грамоты и, раньше, о посещении русской земли апостолом Андреем, предсказавшем величие Киева, матери русских городов, и будущий свет христианства в русской земле. Летопись галицко-волынская своим оживленным, иногда поэтическим рассказом напоминает в некоторых чертах «Слово о полку Игореве»... С первых веков своего христианства русская земля имела святых подвижников, как Антоний и Феодосий Печерские, как еще раньше, два мученика-варяга, как мученики-князья святой Борис и Глеб; доходили даже сказания о святых западнославянских, как чешские Вячеслав и Людмила.

Почитание памяти святых людей еще в древнем периоде положило начало литературе житий, весьма распространившейся впоследствии: жития давали историю, но вместе и легенду, так как сказания о святых иногда еще при их жизни получали в народной фантазии поэтическую окраску в церковном направлении. Святость обыкновенно проявлялась чудесами, так что обычным заглавием таких жизнеописаний было «Житие и чудеса». С укреплением христианства, при сильном возбуждении религиозного чувства область житий, — агиография,

— распространилась по всей русской земле: каждый большой город имел свою святыню, в виде местного святого, чудотворной иконы, знаменитого храма (как святая София киевская и новгородская, святая Троица псковская, Богородица владимирская) и т. п. В древнем периоде возникла и мысль о собрании в целое таких сказаний, результатом чего был знаменитый «Патерик Печерский», сборник житий печерских подвижников, составившийся из трудов Симона, первого епископа во Владимире (умер в 1226 г.), и монаха Поликарпа: впоследствии он был распространен в чтении и подвергся разным редакциям. Древний период русской письменности, как и жизни, носит вообще своеобразный характер, которого уже не встречаем потом в народной жизни и письменности. Это была пора свежей непосредственности, деятельной боевой жизни, оставившей след в поэтических преданиях народа; пора международного общения, еще не возбуждавшего вероисповедных опасений; пора оживленной и разнообразной письменной деятельности, создавшей типы литературного труда для последующих веков (летопись, житие, учительное слово, хождение), которые, однако, не умели развить поэтического наследия древней Руси (такова одинокость «Слова о полку Игореве»). Владимир Святой, Ярослав и другие князья заботились о школе; летопись упоминает князей-книголюбцев; князь Всеволод знал пять языков; творения таких писателей, как Иларион и Кирилл Туровский, указывают, по-видимому, на правильное изучение словесного искусства (по византийским образцам); Владимир Мономах оставил чрезвычайно любопытную автобиографию; «Слово о полку Игореве» свидетельствует о высоком поэтическом настроении писателя-патриота. Удельная форма государства стала источником политической слабости целого, но уделы, располагавшиеся по естественным областям «земель», открывали возможность местного развития. Древняя Русь имела уже несколько центров политических, которые становились и культурными: Киев, Галич, Новгород, Ростов, Тверь, наконец, Москва. Древний период представляет и примеры живого общения с Западом: любопытные намеки «Слова о полку Игореве» о немцах и венецианцах, греках и Мораве, поющих славу Святослава, имеют параллель во влиянии западного искусства, доходившем до отдаленного Владимира. Не выяснен вопрос о частных свойствах племени, игравшего наиболее деятельную роль в Киеве. Некоторые исследователи предполагают, что это племя были также великорусы, отступившие впоследствии на север; более вероятно другое мнение, что в Киеве действовала та же южная отрасль племени, которую видим здесь в последующие века, и упомянутые особенности культурного характера древнего периода подкрепляют это предположение. Политическая несостоятельность удельно-вечевой формы, из которой не выработалась федерация, движение народной колонизации на северо-восток частью по условиям первобытного экономического быта, вследствие, частью необходимости отграничить финно-тюркских инородцев, частью по внушениям богатырского удалства, — еще с XII века наметили новую политическую систему, которая и стала мало-помалу утверждаться на северо-востоке, где не были так сильны удельно-вечевые предания. Это было зарождавшееся стремление к сосредоточению, к утверждению земли во власти одного княжеского рода. Оно едва возникало, когда совершилось нашествие монголо-татар, на время подействовавшее оглушающим образом. В конце концов, под татарским игмом процесс завершился возвышением Москвы, которая положила конец и самому игу.

# История русской литературы от татарского ига до XVII века

С татарского нашествия начинается и новый период политической жизни древней Руси и новый период письменности. По мнению Соловьева, татарское иго не изменило основного процесса государственности; но во всяком случае, в этот процесс вошел чужой, вообще мало благоприятный элемент унижения перед Ордой и татарского насилия. Татарское иго способствовало и расколу русского целого на Русь восточную и западную. В культурном отношении, в истории образования национального характера, татарское иго было великим бедствием. Кроме материального разрушения, было разрушение нравственное. Погибло много национальной старины, которая составляет нравственный капитал народа; национальная жизнь надолго поглощена была одной заботой самосохранения и, когда благодаря запасу силы, оно было достигнуто, утверждение государственности в Москве совершилось с немалым ущербом нравственным. Современные летописцы, рассказывая о первых путешествиях князей в Орду на поклон, говорят о страхе и «обиде» — т. е. обиде для целого народного чувства; но мало-помалу, терпя насилие, приучались и сами к насилию, и огрубение нравов, шедшее из этого источника, едва ли подлежит сомнению. Сами по себе, татары не могут иметь прямого влияния на русских. При первом порабождении русский чувствовал себя выше победителя, который был в его глазах и на века остался «злым» и «поганым». Вскоре оказалось влияние более высокой культуры; татары переезжали жить на Русь, принимали христианство: в числе русских святых уже в XIII-XIV столетии является Петр, царевич ордынский. Чем дальше, тем больше подобные факты умножались, — но рядом продолжались и факты насилия, и татарские князья и мурзы, вступившие в русскую службу, вероятно долго сохраняли свою первобытную природу. Ввиду опасности для государственного бытия, вся политика князей была направлена на усилия национального самосохранения; среди забот о сосредоточении сил забывали думать о просвещении. Школа и книжность упали, не обновляясь новым содержанием. Русь Литовская загородила Москву от сношений с Западом; народное чувство все больше укреплялось в противопоставлении святой Руси поганому Востоку, но в своем культурном одиночестве перешло в крайнее самомнение, враждебно относившееся не только к восточному влиянию, но и к западному, и к последнему, быть может, еще более, так как здесь проявлялась давно внушенная греками ненависть к латинству. Века татарского владычества скудны памятниками литературы. В эпоху тяжелого внешнего гнета с особенной силой развивается религиозное настроение; при отсутствии просвещения и культурного развития нравственные силы уходят на аскетизм. Это было время чрезвычайного размножения монастырей, особенно на севере. Суровые аскеты удалялись в пустыни, строили там келии; слава подвижничества привлекала учеников; в пустыне основался монастырь, богател вкладами, становился землевладельцем и центром монашеской книжности. Среди таких основателей бывали сильные характеры, которые содействовали укреплению монашеского идеала и влияния как в жизни, так и в литературе. Игумены монастырей имели нередко значительное политическое значение, как советники князей; из их среды выходили иерархи. Как некогда митрополит Петр оказал великую услугу московскому княжению, перенесши митрополичий престол в Москву, так игумены монастырей (Пафнутий Боровский, Иосиф Волоцкий и др.) были приверженцами Москвы и немало послужили московскому авторитету. Преподобный Сергей благословил Димитрия на борьбу с Мамаем; митрополит Геронтий с «собором», архиепископ Вассиан возбуждали Ивана III к

борьбе с Ахматом. Иерархи и игумены обращались, по древнему обычаю, с учительными посланиями к князьям. Князю был важен союз с иерархией и для душевного спасения, и для целей политических. В конце концов митрополит венчал Великого князя московского на царство и освятил его власть церковным благословением. Окруженные славой подвижнической и легендой, монастыри становились народной святыней; к ним устремлялось паломничество (особенно когда, после взятия Константинополя турками, был почти загражден путь в Палестину). В смутные военные времена монастыри делались и пунктами военной обороны (Псковско-Печерский монастырь во время Батория, Троицкая лавра в междуцарствие), и это умножало их авторитет. Наконец, в монастырях сосредоточивалось церковное книжничество. Литературная деятельность за эти века не была обильна. В XIII веке от епископа Владимирского Серапиона осталось несколько поучений, изображающих, между прочим, «томление и муку» от нашествия немилостивых иноплеменников. Серапион укоряет паству за нехристианские суеверия (вера в волхвов и пр.) и объясняет, что за грехи Бог и посылает на людей казни, голод и мор, трясение земли и самое нашествие. К первым временам ига должен относиться памятник, от которого недавно только отыскано любопытное начало — «Слово о погибели русской земли». На первых страницах описывается бывалое, при старых князьях, могущество и процветание русской земли, и только в последних сохранившихся строчках говорится неясно о «болезни» христиан во времена автора, т. е. вероятно болезни от татарского нашествия. Целый состав памятника остается неизвестен; можно только сказать, что картина прежнего могущества Руси изображается широкими чертами, напоминающими «Слово о полку Игореве»; есть намеки на стиль народной поэзии, но больше, чем в старом Слове, книжных риторических украшений. Ко второй половине XIII века относится «Правило» митрополита Кирилла III и «поучение к попам». «Правило», составленное на соборе с епископами, опять указывает на грехи, вынудившие от Бога наказание, и дает наставления о церковном благоустройстве; оно восстает против «бесовских игрищ» кулачных боев. Поучение к попам состоит в объяснении их высоких церковных обязанностей. К этому времени относят также несколько поучений, принадлежащих неизвестным писателям и направленных в особенности против остатков язычества — того, что называли тогда «двоеверием»: замечательно в особенности «Слово некоего Христолюбца и ревнителя по правой вере». В XIV веке продолжается литература церковного поучения или поучительного послания. Таковы были труды московских митрополитов Петра (родом с Волыни), Алексия (сына черниговского боярина), епископа Сарайского Матфея, митрополита Киприана (пришельца, южного славянина), Кирилла Белозерского. Их общая тема — осуждение греховной жизни, иногда лишь с некоторыми чертами современного быта, и призывы к благочестию, с угрозами Божия гнева. В посланиях Киприана (митрополита Киевского, потом Московского, 1376-1406) любопытна уверенность в близком конце мира: «ныне последнее время и летам скончание приходит и конец веку сему; бес же вельми рыкает, хотя всех поглотити». Он был противником монастырских имений: отрехшись от мира, не должно обязываться мирскими делами и снова строить то, что разорил. Киприан был большой труженик, занимался переводами учительных богослужебных книг и особенно заботился об исправлении богослужебных книг. Книжная деятельность митрополита Киприана имеет то особое значение, что он был начинателем южнославянских воздействий в нашей старой письменности. Кирилл Белозерский (1337-1427) — один из знаменитейших и типических подвижников среднего периода, юношей принял пострижение в Москве; шестидесяти лет он удалился в пустынное житие и поселился в пещере; слава святости привлекла ему учеников, и он стал основателем монастыря, который вскоре приобрел великую славу, был любим московскими князьями и царями, стал одним из богатейших землевладельцев (ему принадлежало до 20 000 крестьян) и был школой и приютом «белозерских старцев», игравших роль в XV веке. В своих посланиях к князьям Кирилл был обычным моралистом и примирителем. Он советовал заботиться о правосудии, об исправлении народных нравов («великая пагуба душам — крестьяне пропиваются, а души гибнут»), просил князя унимать подвластных ему людей «от скверных



слов и от лаяния, понеже все это прогневляет Бога». В том же веке архиепископ Новгородский (1331-1352) святой Василий написал тверскому епископу Феодору послание, где объяснял вопрос о рае и аде: об этом много говорили в Твери, и Феодор учил свою паству, что рай, где жил Адам, более не существует, а есть только рай мысленный. Василий опровергает его указания на (апокрифические) сказания о рае на востоке (пустынный Макарий жил в двадцати поприщах от рая, Евфросин принес оттуда три небесных яблока), и приводит рассказ «своих детей новгородцев», которые видели ад «на дышущем море» и рай за горой, где «написан был Деисус лазорем чудным» (икона, изображающая Спасителя с Богородицей и Иоанном Крестителем); за горой был свет великий и слышались голоса ликования. Как выяснено теперь, рассказ новгородцев есть легенда, в то же время распространенная на Западе. С татарскими нашествиями, по-видимому, не прервались паломничества к святым местам, но они были несомненно затруднены, и памятники редки. XIV веку принадлежит, вероятно, «Беседа о святынях Царьграда», недавно отысканная и еще не вполне исследованная, как думают некоторые — составленная упомянутым архиепископом Новгородским Василием; сказание Стефана Новгородца, ходившего около половины XIV века в Царьград и дивившегося его святыням и великолепию, так что и «ум сказати не может», и «в Царьград как в дуброву войти»; хождение некоего архимандрита Агрефения, описывавшего святыне места Палестины; хождение смоленского дьякона Игнатия, который в 1387 г. сопровождал митрополита Пимена в Царьград, а потом был в Иерусалиме; сказание дьяка Александра, бывшего в Царьграде по торговым делам. Тому же веку принадлежит опыт эпического рассказа — «Сказание о Мамаевом побоище», принадлежащее рязанскому иерею Софонию или Софронию; дальнейшая обработка того же сюжета, «Задонщина», относится уже к XV веку. Отдельные исторические повести об особенно замечательных событиях возникли еще в древнем периоде; впоследствии они размножаются, и в XIV-XV веках находим целый ряд повестей (о житии и храбрости Александра Невского, благоверном князе Довмонте, о нашествии Батые на русскую землю, о убиении князя Михаила Черниговского в Орде, о убиении князя Михаила Тверского, Рукописание Магнуса короля Свейского и т. д.): эти повести заносились иногда в летопись, но обращались в рукописях и отдельными статьями. Сюда относится и Сказание о Мамаевом побоище; оно отличается от других повестей тем, что автор старался украсить свое повествование поэтическими чертами, для чего воспользовался «Словом о полку Игореве» как образцом. «Задонщина», писанная менее натянутым книжным языком, также преисполнена подражаниями «Слову» — но именно на этом и сказалась великая разница литературных периодов. То, что было в «Слове» непосредственным внушением поэтической фантазии и чувства, в высказываниях XIV-XV веков становится безжизненной фразой: позднейшие книжники часто совсем не понимали поэтического образа, применяли его нескладно или фальшиво, вещей Боян «Слова» превратился в «вещанного боярина, горазного певца в Киеве»; слова: «о Русь, за шеломянем еси» (за горой) получили следующий вид: «русская земля, то первое еси как за царем за Соломоном побывала», т. е. совершенно потеряли смысл. XV век был эпохой уже определявшегося окончательно исторического процесса, в результате которого Москва объединила уделы; великий князь московский был уже бесспорным властителем, удельные князья становились его придворными; самый Новгород потерял свою независимость. Политическое возвышение Москвы долго не сопровождалось возвышением ее книжного просвещения; до XV века она была, по выражению Буслаева, татарским лагерем, проводила антинациональные начала, в книжности уступала Киеву и Новгороду XII века. Книжные интересы были гораздо сильнее в Новгороде и других прежних центрах. Составитель летописного сборника в первой половине XVI века (Тверская летопись) извинял недостатки своего труда тем, что он — не киевлянин, не новгородец, не владимирец, а ростовский человек, конечно указывая тем центры книжной деятельности; Москву он не назвал вовсе. В прежних центрах книжность заявляла себя преимущественно обилием местных сказаний исторических и житийных: легенда развивалась в Чернигове, Владимире, Ростове, Смоленске, Муроме, но в

особенности в Новгороде, между прочим отражая враждебные отношения его к Москве (например, поставленный из Москвы архиепископ чудесно наказывается за неуважение к новгородской святыне). В конце концов политическое преобладание, обратившееся в господство, должно было внушить мысль о необходимости просвещения и развить книжную деятельность. На первый раз явилась чужая помощь: в Москве водворяется влияние южнославянское. Выше назван, как его первый представитель, митрополит Киприан. В конце XIV века пали оба южнославянские царства, Сербское и Болгарское: перед падением в них оживились книжная деятельность и под турецким игом, пока, наконец, взятие Константинополя не подорвало последние силы южного славянства. В Москву приходят деятели этой последней поры южно-славянской книжности. Их школа была византийская, риторическая, какой не знали на Руси, особенно в Москве, — и здесь для подобных риториков представилось широкое поприще. В начале XV века действовали в русской книжности два иноземца. Один был грек, митрополит Фотий, в Москве (1410-1431), не вполне владевший славяно-русским языком, витиеватый моралист, по отзыву митрополита Макария, вялый и скучный: поучения его не имели почти никакого отношения к русской жизни, но между прочим, и он ожидал близкой кончины мира: «грядет ночь, жития нашего престатие». Другой был южный славянин, вызванный митрополитом Киприаном, Григорий Цамблак, одно время митрополит Киевский (1416), автор многочисленных поучений и сказаний, большой оратор, не столько моралист, сколько догматик, защищавший православие против латинства: сочинения его были очень распространены между русскими читателями. Еще один пришелец, много работавший на Руси в половине XV века, был сербин Пахомий Логофет: это был представитель южнославянской учености и риторского искусства, по словам русских книжников, «от юности усовершенствовавшийся в писании и во всех философиях, превзошедший всех книжников разумом и мудростью». «Все философии» Пахомия применены были на Руси к одному делу, которое считалось настоящим: по поручению великого князя и митрополита с собором, Пахомий писал каноны, похвальные слова святым, сказания и особливо жития; последние, впрочем, состояли большей частью только в новых редакциях уже существовавших житий. Дело в том, что никто в России не мог тогда сравняться с Пахомием в витийстве: он вложил в свои писания вынесенные с славянского юга и Афона «добрословие» и «плетение словес», изумлявшие русских книжников. Пахомий стал для последних высоким образцом; плетение словес, мало заботившееся об исторической точности и стиравшее в первоначальных простых записях живые черты жизни и истории, стало обычным стилем церковно-исторических писаний. К южнославянскому книжному искусству обращались и в XVI веке. Так, соловецкая братия посылала монаха Богдана на юг найти искусника для нового изложения житий своих святых, и Богдан вернулся с двумя похвальными словами святому Зосиме и Савватию, написанными иноком Львом Филологом. По новейшим исследованиям, Пахомий Логофет был автором еще одного произведения, которое надолго стало весьма распространенным образовательным чтением в древней Руси: это был знаменитый «Хронограф», единственная книга по всеобщей истории, впоследствии распространявшаяся в различных новых редакциях. Риторическая школа Пахомия нашла последователей и между русскими книжниками: так, в числе писателей житий славится Епифаний, получивший за свое добрословие прозвание «Премудрого». Это становилось обычным стилем для жития и вообще для изложения возвышенных предметов: в первой половине XVII века мы встречаемся с ним у историков междуцарствия в форме, доходящей до уродливости; во второй половине XVII века к нему присоединилась, или пришла на смену, схоластическая риторика киевской школы. На переходе от XV века к XVI веку совершалась деятельность новгородского архиепископа Геннадия (1485-1504) и его союзника Иосифа игумена Волоцкого (1440-1515). Новгород издавна вел обособленную жизнь, сохраняя до последнего столкновения с Москвой вечернюю жизнь, поддерживая торговые сношения с немецким западом, которые сопровождались известными культурными влияниями, имея свою летопись, легенду, эпическое предание. Новгородская легенда и эпос отличались, — как можно судить по письменным памятникам и песенным

остаткам, — широким размахом фантазии, силой образов (легенды об Антонии Римляnine, Иоанне Новгородском, Варлааме Хутынском, знамени, сказания архиепископа Василия об аде и рае, былины о Василие Буслаеве, госте Садке); новгородская колонизация провела энергичное население на север, где сохранилось впоследствии богатое эпическое предание (Олонецкий и Архангельский край). По-видимому, здесь шла и деятельная религиозная жизнь; не останавливаясь на внешнем обрядовом благочестии, здесь ставили вопросы по существу церковной жизни, и свободомыслие выразилось возникновением ересей. В половине XIV века церковные власти были встревожены появлением «стригольников». Историки еще не остановились на одном объяснении происхождения этой секты: одни приписывают ей источник богомильский, другие, с большей вероятностью, думают, что она была занесена в Новгород из Германии, где, после страшной Черной смерти, возникла секта бичующих (гейслеров, флагеллантов), пропаганда которой, быть может, достигла и Новгорода. Стригольники отвергали священство, так как оно поставляется «на мзде», и самые таинства; будучи, по-видимому, чем-то вроде духовных христиан, они сами становились толкователями Писания, и уважали в особенности Евангелие. По-видимому, дальнейшим развитием стригольничества была ересь жидовствующих, явившаяся также в Новгороде во второй половине XV века: начало ее связывают с приездом в Новгород из Западной Руси князя Михаила Олельковича (1471), с которым пришло несколько евреев, и особенно ученый Схария, по словам обличителя секты, Иосифа Волоцкого, «диаволов сосуд и изучен всякому злодейства изобретению, чародейству и чернокнижию, звездозаконию и астрологии». В тогдашнем отсутствии каких-либо школьных знаний всякая наука представлялась чародейством, и тем более у человека, поучавшего церковным ересям. В чем именно заключалась ересь, опять неясно: есть обвинение в прямом жидовстве, ставится в преступление погибельная ученость; была, по-видимому, склонность к рационализму; было, наконец, у фанатиков, грубое оскорбление святыни. С другой стороны, между еретиками были люди книжные и благочестивые; великий князь Иван Васильевич взял в Москву попов Дениса и Алексея, зараженных ересью, и ересь стала распространяться в Москве, при самом дворе великого князя. Архиепископ Геннадий выступил непримиримым гонителем ереси. Вообще, это был человек энергичный: в истории русской письменности он известен своим опытом собрать полный текст библейских книг, причем книги, не отыскавшиеся в рукописях, он велел перевести вновь, между прочим, — с Вульгаты и с еврейского языка. Геннадий требовал от князя казни еретиков, ссылаясь, между прочим, на испанскую инквизицию, о которой слышал от цесарского посла, проезжавшего через Новгород. Отчасти, он и пустил в ход инквизиторские приемы над еретиками, осужденными в Москве и присланными в его распоряжение. Не менее ревностным и ожесточенным преследователем ереси в своих писаниях был игумен волоколамского монастыря Иосиф. Первым средством, которое предлагал Геннадий против еретиков, было не убеждать, а «жечи да вешати»; с этим соглашался и игумен волоколамский. Иосиф написал против ереси несколько посланий, из которых составил обширный сборник «Просветитель». Сообщив несколько исторических сведений об ереси (он считал в числе еретиков и тогдашнего московского митрополита Зосиму), Иосиф дает систематическое опровержение лжеучений и вместе памфлет, исполненный церковнославянскими ругательствами. Строгий ревнитель православия, для охраны которого он не останавливался ни перед какими средствами истребления, допуская и «богопремудрое коварство», т. е. обман. Иосиф был и типический книжник своего времени. Чтением он приобрел большое знание церковной литературы: на каждом шагу он цитирует Писание и отцов церкви, собирая из них аргументы за беспощадное истребление еретиков. Но это был только начетчик, чуждый критики: он ставит рядом закон Моисея и учение Христа, не сомневается черпать свои доказательства из сочинений апокрифических, гражданские постановления византийских императоров ставит рядом с соборными правилами и т. п. Деятельность Иосифа Волоцкого совпадает с окончательным падением удельной системы и установлением московского единодержавия. Он стоит вполне на стороне нового политического строя, защищая вместе с

тем монастырское землевладение и монастырское богатство как источники политического влияния. Это яркий представитель обрядового благочестия и вообще древнерусского просвещения, господствовавшего потом до времен Петра Великого. Этот результат средних веков русской жизни производил бы удручающее впечатление, если бы крайность не вызвала в то самое время противодействия от людей иного нравственного склада, во главе которых стоял Нил Сорский (1433-1508), «великий отец церкви русской», по выражению архиепископа Филарета. Это был инок из школы Кирилло-Белозерского монастыря, владевшего одной из самых богатых тогда библиотек, но главным образом, по-видимому, он выработал свои взгляды во время довольно продолжительного пребывания на Афоне. Это было аскетическо-созерцательное направление, воспринятое с великой искренностью и силой характера. Нил основал себе уединенное пустынножительство, удалясь от мира, корысти и «бессловесных (неразумных) попечений». В делах церковно-общественных он принимал участие только тогда, когда был к ним прямо призывает. Это была во всем резкая противоположность Иосифу Волоцкому: вместо обрядового благочестия, властолюбия, кровожадной нетерпимости, слепой веры в букву, отсутствия критики — религиозное созерцание, мягкое снисхождение к ошибке, свобода «рассмотрения» писаний, отделение истинного от сомнительного. На соборе 1503 г., созванном для решения церковных вопросов, Нил восстал против монастырского землевладения, за которое стоял Иосиф. Они совершенно расходились и в вопросе о том, как поступать с еретиками. Словом, оказалось в церковных идеях и в жизни два совершенно противоположных течения, представителями которых были, с одной стороны, «иосифляне», с другой — «белозерские старцы», с Нилом Сорским во главе. Нил Сорский был высокий идеалист: его предание сказывалось потом в идеалистических стремлениях русской церковной жизни, создавая настроения братолюбия и самоотвержения. Практически, однако, оказалась сильнее другая сторона. Историки замечают, что на политических взглядах Иосифа Волоцкого воспитывался Иван Грозный; строгое учение Иосифа стало достоянием той массы книжников, которая полтора века спустя восстала против нововведений Никона: читая Иосифа Волоцкого, przygotowляешься к писаниям протопопа Аввакума. Паломничество продолжалось, но чем дальше, тем больше изменялись условия странствования. Троицкий иеромонах Зосима (около 1420 г.) еще застал Константинополь христианским, был на Афоне и только «с нужею» дошел до святого града Иерусалима, «злых ради арапов»: в святом граде святыни были в руках окаянных сарацин, и им надо было платить за поклонение. Зосима повторял обычные легендарные рассказы, но описывал и личные невзгоды: на обратном пути их корабль был ограблен морскими разбойниками, они скакали по кораблю как дикие звери, блистая мечами и копьями, «яко по воздуху утрашиться от них». В 1465-66 г. странствовал ко святым местам гость Василий — новым путем: описание начинается от Бруссы, откуда он шел в Иерусалим через Малую Азию; рассказ — обычное перечисление святынь, с апокрифическими подробностями, но было и купеческое любопытство: отмечались большие торги и кермасераи (караван-сарай). Далее, два путешествия совершил священноинок Варсонофий (1456 и 1461-62): оба раза он был в Иерусалиме, а во второй раз — и в Египте, и первый из русских паломников посетил и описал Синайскую гору. Его хождение повторяет обычные рассказы, но не лишено своеобразных личных впечатлений, а кроме того, сохранило важные указания для топографии святых мест в XV веке. К тому же времени относятся два особенных путешествия, которые были первыми в своем роде. Суздальский иеромонах Симеон был одним из спутников митрополита Исидора в путешествии на Флорентийский собор: проезжая через Германию, Тироль, Северную Италию, он поражался невиданным великолепием городов, на юге — чудесами природы: каждый встреченный большой город казался ему столь великолепным, что выше не может ничего быть, но потом он видел города еще более удивительные — и каждый раз он отмечает: «град камен», потому что дома знал только деревянные. Другой спутник Исидора, епископ Суздальский Авраамий, дал описание мистерии, представление которой он видел в одном флорентийском монастыре и которая произвела на него чрезвычайное



впечатление: «по всему видети подобием яко самую Пречистую Деву Марию», и вообще «великое то видение чудно и радостно и отнюдь не сказанно» (т. е. невыразимое никакими словами). Тверской купец Афанасий Никитин присоединился в 1466 г. к посольству, отправлявшемуся в Шемаху, потом через Персию отправился в Индию, прожил там три года, в 1472 г. вернулся, но умер на дороге в Смоленск. Путешествие его любопытно, хотя рассказ не всегда ясен: факты он мешает с фантастикой, иногда не умеет понимать их. Первый комментатор Никитина, Срезневский, ставил его очень высоко и заключал, что из современных ему путешественников могут сравниться с ним только рассказы ди-Конти и Васко-да-Гамы; но была та разница, что писания нашего путешественника остались для русских читателей отрывочным и даже малораспространенным рассказом приключений и не способствовали расширению географических знаний. Наступал XVI век. Чтобы составить себе более точное представление о складе литературы и положении вещей в том веке, когда установился склад русской народности в Московском царстве, необходимо дать себе отчет в образовательных средствах среднего периода и характере слагавшегося мировоззрения. После первых начинаний школы в древнем периоде, мы не имеем сведений о какой-либо школе выше первоначальной. Нет сомнения, что были школы, поддерживающие церковную и приказную грамотность, но упадок книжного обучения можно видеть из малочисленности литературных памятников за первые века татарского ига; даже в более позднее время, в XVI и начале XVII века, есть указания, что даже в среде боярского сословия «грамоте не умеют». С конца XIV века понадобилась книжная помощь от южнославянских единоплеменников; в первой половине XVI века опять искали ученого иноземца для настоятельных церковных трудов, и вызван был с Афона Максим Грек. В то время, когда на Западе блистал учеными силами век Возрождения и Реформации, когда делались великие научные открытия, Московская Русь оставалась в густом мраке средних веков. Упомянутая выше оторванность Руси от Запада, огрубение нравов под татарским игом, посещение национальной силы борьбой за восстановление государственного национального единства не давали возможности предпринять образовательную деятельность. Единственной умственной пищей оставалось то «книжное почитание», которое унаследовано было от старого периода и пополнялось потом, отчасти, скудным вкладом собственных трудов, гораздо более — переводами произведений византийской литературы, частью только собственными и в особенности приходившими со славянского юга. Составом этой литературы исчерпывались все образовательные средства наших средних веков. Господствующее место занимали в ней многочисленные переводы из творений святых отцов — слова, поучения, толкования Священного писания, жития святых, в Прологах и Минеях, и в отдельных сказаниях. Сборники учительного содержания, из творений святых отцов, в особенности из Златоуста, появлявшиеся еще с древнего периода и позднее, как знаменитый Святослав Сборник, Златоструй, Маргарит, Измарагд, Златая Цепь, Матица, достигали в обращении до самого московского периода. Историю творения представлял древний «Шестоднев» Иоанна, экзарха болгарского; ветхозаветную историю излагала древняя Палея, где к сведениям библейским прилагались апокрифические сказания. Астрономию и физическую географию излагала (переведенная, по-видимому, в XIV веке) книга византийского купца, потом монаха VI века Козьмы Индикоплова, который опровергал систему Птолемея как противоречащую Писанию, и представлял землю как плоский, продолговатый от востока к западу четырехугольник, покрытый небом как сводом; обитаемая земля окружена океаном, по краю возвышается стена и край земли сходится с краем неба; земля стоит на тверди и под ней ничего нет; учение об антиподах бессмысленно и противоречит Писанию и т. д. Описание произведений природы давала переведенная в конце XIV века византийская поэма VII века Георгия Писиды — но переведенная дурно, так что многие места остаются невразумительными. Другой источник познаний о природе представлял «Физиолог», сборное произведение II-III века, описание животных, птиц, рыб, камней и т. д., эпизоды которого переходили в средневековую народную мифологию и христианскую символику. Первоначальная редакция нашего «Физиолога» была южнославянская, восходящая

ко времени до XIII века. Таковы были почти все сведения о строении мира и природы, какие были в руках древнего книжника. В XV-XVI веках к ним прибавляются в сборниках отдельные статьи, опять переводного происхождения, с попытками более правильного объяснения, например, о шарообразности земли, о свойствах грома и молнии и т. п.; но русский книжник должен был недоумевать между этими сведениями и чистой фантастикой, подкрепляемой ссылками на Писание... Исторические сведения мало продвинулись с тех пор, как еще в древности получены были переводы византийских хронистов — Амартола, Малалы, позднее Манассии и др. Во второй половине XV века возникает «Хронограф», который пытается дать историческим сведениям некоторую систему. Исходя в основе из тех же источников, он присоединяет к ним, довольно отрывочно, сведения о болгарской и сербской истории, вносит русские известия, в дальнейших редакциях пользуется польскими хрониками и «Космографией». И в позднейших обработках, сильно расширивших его первоначальное содержание, «Хронограф» остается, однако, весьма архаическим собранием исторических сведений, отрывочным и запоздалым. Наконец, в образовании древнерусского мировоззрения заняла важное место легенда, в самом широком смысле и разнообразных разветвлениях. Первобытное язычество было наполнено верой в чудесное: мифология была стремлением объяснить чудесными силами, олицетворяя их в сверхъестественных существах, которые становились высшими и низшими божествами. Введение христианства должно было устранить эту мифологию, заменяя ее цельной библейской космогонией, и устранить первобытный обычай высоким нравственным учением и церковными установлениями. Смена старого новым произошла не вдруг — и это не могло быть иначе, так как приходилось действовать на обширную народную массу, с твердо укоренившимся вековым мировоззрением, когда притом на первое время было очень невелико и число учащихся. Психологическая почва оставалась, и на ней, по-видимому, уже вскоре стало утверждаться новое вероучение, также исполненное чудесного. Период «двоеверия» был очень продолжителен: многое из первобытного предания, имевшего языческий источник, сохранилось в народной вере до сих пор, даже у народов с высоким уровнем цивилизации; тем более двоеверие должно было крепко держаться в те века русской жизни, когда школа почти отсутствовала. Тем больше успеха среди народных читателей должна была иметь та доля новой христианской литературы, которая состоит в книгах апокрифических (в старом наименовании: отреченных, ложных). Под именем книг апокрифических разумеются те, которые не вошли в узаконенный церковью канон, т. е. в список книг Священного писания — книги неканонические. Есть апокрифы ветхозаветные, дохристианские, и еще большее число новозаветных. Это был, прежде всего, целый ряд евангелий (до тридцати), возникших еще в первые века христианства, но во время составления канона не признанных достоверными, хотя в некоторых случаях их сказания повторяемы были и отцами церкви (например, из первоэвангелия Иакова); далее, несколько апокалипсисов, истории апостолов; отдельные легенды о Христе и Богородице; сказания о святых и мучениках; писания, которые считались еретическими, и т. д. Словом, это была обширная легенда на темы Ветхого и Нового Завета и церковной истории, исполненная чудесного. Некогда она была, так сказать, популярным распространением, а также реальным применением состава вероучения; впоследствии она распространилась по всему христианскому миру, восточному и западному, принимаемая с полной верой не только в народных массах, но и среди самого клира. Апокрифические сказания были тем более завлекательны, что очень часто они дополняли недосказанное книгами каноническими, раскрывали таинственное, отличались настоящей поэзией (например, многие сказания о Христе и Богородице), наконец, обильно питали ту потребность чудесного, которая свойственна народной религии. Эти отреченные, ложные книги стали проникать в нашу письменность с первыми памятниками христианской литературы из южнославянского источника. Апокрифические черты находятся в летописном изложении христианского вероучения и в других эпизодах летописного рассказа; сохранились списки некоторых апокрифов от первых веков нашей письменности; несмотря на то что на «ложных» книгах лежало церковное

запрещение, сами иерархи увлекались ими и давали им место в своих писаниях (новгородский архиепископ Василий, даже Иосиф Волоцкий и др.). Церковные запрещения против апокрифических книг были помещены в постановлениях апостольских, рано перешли в письменность славянскую, и затем, вместе с церковными книгами, в русскую. На славянской почве список ложных книг был дополнен, например, включением книг богомильских, и в русской письменности образовалась, наконец, обширная статья «о книгах истинных и ложных», где, за перечислением книг, которые подобает честь, следует список книг отреченных, чтение которых навлекает пагубу душам и церковное наказание, а самые книги должны быть сжигаемы на теле читавшего. В старой русской письменности были известны: по истории ветхозаветной — ложные сказания о миротворении (Богом и дьяволом), об Адаме и Еве и в связи с этим о крестном древе, о Енохе, потопе и Ное, Аврааме, Заветы двенадцати патриархов, сказания о Соломоне; по истории новозаветной — сказание Афродитиана персиянина о Рождестве Христове, первоевангелие Иакова, Евангелие Фомы, Евангелие Никодимово, Прение Христа с дьяволом, ложные сказания о Христе, приписываемые болгарскому попу Иеремию (как Христа в попы ставили, как Христос плугом орал и др.), Слово Адама во аде к Лазарю, Хождение Богородицы по мукам, Слово о видении апостола Павла, Вопросы Иоанна Богослова к Господу на Фаворской горе, Вопросы его же к Аврааму; далее, апокрифы позднейшие, связанные с именами отцов церкви, святых, мучеников, предвещения, суеверные молитвы и заклинания и пр. — Беседа трех святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста; Слово Мефодия Патарского о царствии язык последних времен (о конце мира), Епистолия о неделе (о почитании воскресного дня), сказание о мучении святого Георгия, сказание об иноке Макарии римлянине, жившем в двадцати поприщах от рая, сказание о двенадцати пятницах, ложные молитвы, сказание о трясавицах (лихорадках) дочерей Иродовых; суеверные и гадательные книги, как Громник, Молнияник, Колядник, Зелейник, Трепетник, Путник, Сносудец, Чаровник, Рафли, Аристотелевы Врата, Луцидариус (книга, переведенная в XVI веке с немецкого, разговор между учеником и учителем — о разных предметах природы, на основании апокрифических книг, средневековых преданий и т. д.). Это была целая литература легенды, в большинстве завлекательной и доступной для массы. В средневековой западной литературе апокриф был не менее, если не более известен и многообразно обработан в поэзии и в искусстве, но у нас положение его было иное. В западной жизни легенда издавна имела свой противовес в начатках науки; эпоха Возрождения выдвинула античные идеи, которые стали во главе нового литературного развития. У нас легенда господствовала безраздельно в течение веков, и религиозное настроение приняло под ее влиянием, особую складку — упорство и неподвижность суеверия. Множество рукописей более популярных апокрифов (как Беседа трех святителей, Сказание о крестном древе, Хождение Богородицы по мукам, Двенадцать пятниц, Сказание о трясавицах и т. д.), указывает на распространение их в массе. Понятно, что они отразились, наконец, в народной поэзии, именно в духовных стихах, начиная с знаменитого стиха о Голубиной книге. Когда все больше возрастала власть Москвы и иерархия становилась на сторону единовластия и самодержавия, в союзе с ними слагалась легенда, говорившая о московском «царстве». По-видимому, гораздо ранее его осуществления она давала уже образное представление преемства, переносившего на Москву древнее политическое и церковное значение Царьграда и делавшего московских государей единственными и законными продолжателями византийских императоров. Легенда слагалась из нескольких мотивов. Была византийская сказка (о Вавилонском царстве), очень распространенная у нас в разных редакциях, известная и на Западе, — о том, как греческий царь Лев (Василий) отправил в град Вавилон послов, чтобы «взять знамение» от святых трех отроков, невредимых в вещи вавилонский, и добыть вещи, принадлежащие некогда царю Навуходоносору. Великий чудовищный змий облегал весь град Вавилон, но послы, претерпев разные ужасы, достигли цели; в числе драгоценностей был царский скипетр и «шапка Мономаха». В дальнейших вариантах сказки роль императора Льва прямо занимает Иван Грозный. Далее, было другое сказание, где

начиная с Ноя, передается история великих властодержцев, какие бывали на земле, от царей египетских до римского царя Августа, — и от сродника его Пруса, по имени которого назвалась Прусская земля, производился Рюрик, призванный новгородцами по совету Гостомысла. Потомок Рюрика, Владимир, устранив войной греческого императора, получил от Константина Мономаха драгоценные дары — часть животворящего древа, царский венец и «крабицу сердоликовоковую, из нее же Август кесарь веселяшеся»... Прежде думали, что эта генеалогия от Августа кесаря составила под влиянием польских ученых «баснословий»; но с большей вероятностью полагают, что здесь опять действовало влияние южнославянское. У южных славян давно велась борьба против церковных и политических притязаний греков; болгарские и сербские властители брали себе высокие титулы, и мысль о «царстве» предполагала полную независимость. Именно при митрополите Киприане было отменено в Москве церковное поминание византийских императоров, что произвело большое неудовольствие в Константинополе: патриарх прислал князю наставление, что как есть одна православная церковь, так есть один «кафолический царь». Сербин Пахомий называл в своих писаниях великого князя Василия Васильевича «богочестивым царем» — и эта мысль начинает все больше укрепляться в умах русских людей. О падении царств южнославянских у нас слышали мало, но сильное впечатление должно было произвести падение Константинополя. С этим являлся новый и самый сильный мотив говорить о преемстве, когда притом греческая царица стала московской великой княгиней. В писаниях старца псковского Елезарова монастыря Филофея, в двадцатых годах XVI века, говорилось положительно: «Все христианские царства преидоша в конец и снисдошася во едино царство нашего государя, но пророческим книгам, то есть Российское царство; два убо Рима надоша, а третий стоит, а четвертому не быти». В конце столетия, при учреждении русского патриаршества, почти те же слова сказал константинопольский патриарх Иеремия царю Федору Ивановичу. Степенная книга, труд митрополита Макария при Грозном, так сказать официально установила упомянутую легенду о преемстве царского достоинства. Рассказав о том, как Владимир принял богатые дары и царский венец от Константина Мономаха, она замечает, что Владимир принял их «мужества ради своего и благочестия — и не просто реши таковому дарованию не от человека, но <по> Божьим судьбам неизреченным претворяюще и преводяще славу греческого царства на российского царя». При Иване Грозном установилось, наконец, могущественное царство, ставшее единственным православным царством; оно осуществляло давние национальные стремления, становилось прибежищем для гонимого восточного христианства, стремилось установить и внутри быт, отвечающий церковному православию и достоинству великого государства. В наследие от прежних веков остались великие неурядицы. Не говоря о политических затруднениях от остатков старых княжеских и боярских притязаний, внутренний быт не отвечал требованиям церковного благоустройства: еще Геннадий жаловался на невежество духовенства, церковные книги были испорчены, возникали ереси, в народе жили старые языческие суеверия. Еще в начале века вызван был с Афона ученый грек Максим, для дела, которое считалось неотложным: нужно было, на первый раз, перевести Толковую Псалтырь, и в Москве не было человека, способного на такую работу. Максим Грек (родился около 1480 г. в Албании, умер в Москве, 1556) учился в Греции и Италии, жил во Флоренции во времена Савонаролы, которому удивлялся — и обладал большой церковной ученостью. Прибыв в Москву, он, еще не зная славянского языка и работая с помощью переводчика (Дмитрия Герасимова), исполнил данную ему работу, которая была высоко одобрена собором; ему даны были другие подобные поручения, но вскоре его положение стало крайне трудно. Невежественные писцы, ему служившие и выросшие в суеверном страхе перед буквой, стали обвинять его в нарушении догматов, когда он исправлял неверные прежние переводы; говорили, что этим он порочит русских чудотворцев, спасавшихся по старым книгам — и церковные власти принимали эти обвинения. Он не сходил с властями и в других случаях: он резко говорил против господствующего невежества, против монастырского землевладения (когда во власти были ученики Иосифа Волоцкого), о



неправильности устранения власти константинопольского патриарха в делах русской церкви; наконец, он оставался греческим патриотом, и были заподозрены его сношения с греком Скиндером, который был в Москве послом турецкого султана. В конце концов он подвергся ссылке, обвинен в неправославии, даже в волхвовании против великого князя, посажен в тюрьму, лишен (на десятки лет) причастия; тщетно он просил отпустить его на Афон, тщетно просили об этом восточные патриархи... Труды Максима Грека состоят, главным образом, из толкований Святого писания; далее, это — сочинения догматико-полемические (против иудеев, магометан, католиков, лютеран, армян), нравоучительные и обличительные, по поводу исправления книг, против суеверий и апокрифических книг, против упадка нравов: он настойчиво говорит о необходимости учения, восхваляет западные школы (тотчас оговариваясь, что хвалит не латинство, а науку); после него остались заметки исторические и филологические. Как переводчик и толкователь Писания, Максим первый является у нас вооруженным приемами критического знания, в которых видна школа западного, именно итальянского, Возрождения. Личная судьба его отражала все положение тогдашней русской жизни в деле просвещения: она была в состоянии застоя, обрядового формализма, и при первой встрече с требованиями христианского достоинства и книжного знания стала к их представителю в крайнюю вражду. Чрезвычайно характерны слова, писанные ему митрополитом Макарием: «узы твоя целуем, яко единого от святых, пособити же тебе не можем» (он посылал ему только «денежное благословение»). Только в последние годы жизни участь его была облегчена; он поселился в Троицкой лавре, где посетил его царь Иван Васильевич. Сочинения Максима пользовались великим уважением; великими почитателями его были Курбский, ревнитель православия Зиновий Отенский; в XVII веке его трудами пользуются Захарий Копыстенский, Смотрицкий; патриарх Адриан ставил переводы его в примере как образцовые. Еще при жизни Максима в церковной жизни начались новые волнения. Башкин возымел недоумения, с которыми обратился к духовному отцу, т. е. искал поучения; духовный отец не сумел дать поучения и донес властям; началось следствие; на соборном суде Башкин проговорился, что его мысли одобрялись «заволжскими старцами» (школой Нила Сорского); привлечены были к суду бывший троицкий игумен Артемий, почитатель Максима Грека, Феодосий Косой, даже святой впоследствии Феодорит, просветитель лопарей и обличитель дурных монахов. Башкин и Феодосий считались главными ересиархами. У первого было сомнение во многих догматах и обрядах, недоверие к святоотеческим писаниям, из которых могла быть почерпаема защита отвергаемого им монастырского землевладения; сам он отпустил на волю своих холопов, потому что «Христос всех братьями нарицает, а мы держим рабов». В 1554 году Максим Грек был приглашен на собор, судивший Башкина, но отказался, думая, что и его привлекают к этому делу. Личность Феодосия Косого до сих пор не выяснена. Холоп московского боярина, он бежал в белозерский край и принял монашество, что избавляло от преследования; в монастыре ему «во мнишестве бе угождающая господин его». Думают, что он увлекся учением заволжских старцев, которое оказалось ему не по силам; преданный суду, он содержался в одном из московских монастырей, успел бежать, пробрался в Литву, нашел здесь покровителей, женился и стал развивать свое учение в еще более отрицательном направлении. Дальнейшая судьба его неизвестна. Обличению его ереси посвятил обширный труд инок Отенского монастыря Зиновий (умер в 1568 г.): «Истины показание к вопросившим о новом учении». Зиновия называют учеником Максима Грека, но он расходился с учителем в весьма важных вопросах, например, о монастырских имениях, о церковной обрядности, исключительность которой Максим осуждал. Книга Зиновия — очень многословная; изложение — книжное, но иногда живое и образное. Церковные историки отмечают у него новую важную черту: вопреки обычаю русских книжников говорить только «от писания», накоплением выписок, Зиновий вводит логическое рассуждение, рациональное объяснение церковных истин. Учеником Нила Сорского, потом учеником и другом Максима Грека был князь-инок Вассиан Патрикеев: человек упорный, нередко необузданный, он вмешался в борьбу иосифлян с «заволжскими старцами» и продолжал предания Нила

Сорского в вопросе о монастырских имениях и исправлении книг. Иосифляне взяли верх; на соборе Вассиан был осужден и сослан в Волоколамский монастырь, где прежде заключен был Максим Грек: это было именно гнездо врагов и, по словам Курбского, иноки «уморили» Вассиана. В той же борьбе явилась, на помощь идеям Нила, Максима Грека и Вассиана Патрикеева, мнимая «Беседа Валаамских чудотворцев Сергия и Германа» — резкое, но мало искусное нападение на владение монастырей землями «со христианы», на монастырскую роскошь, на вмешательство иноков в дела правления, между тем как они должны трудом снискивать свое пропитание и спасать души. Автор «Беседы» скорбит, что Бог гневается на всю землю за иноческие грехи и за «царскую простоту». Основание московского царства повело к особому возбуждению литературной деятельности в прежнем архаическом направлении, но с большей силой. Ему же предшествовала легенда, указывавшая его путь: это было царство православное; оно должно было охранить чистоту веры, на ней основать народную жизнь; царь — единодержавный властитель, действующий с благословения церкви и в союзе с ней: он грозен врагам, но и своим подданным, потому что от Бога власть миловать и казнить, никому, кроме Бога, не давая отчета. Идеал был византийского стиля, но, по мнению некоторых историков, осложненный воспоминаниями о власти татарской, когда хан в течение двух веков был властителем и даже называем был царем.

Половина XVI века была ознаменована церковным венчанием первого царя. Венчание было совершено со всем торжеством, тем более что юный царь, сам ритор, любил внешние эффекты. Ближайшим советником был митрополит Макарий (1482-1563). Нужно было думать о благоустройстве царства; быть может, настояния Максима Грека побудили рассмотреть состояние церкви и народной жизни. Собран был, в присутствии и с участием царя, собор, постановления которого были отредактированы, как полагают, Макарием в известном «Стоглаве»; результат был, однако, сомнительный. Все настроение было консервативное: полагалось, что задача состоит именно в поддержании «изштатавшейся» старины, которая была благочестива, не знала ересей, и т. д. Собор обратил внимание на порчу церковных книг, повелевал держать только исправленные, но не думал о том, что исправлять было некому; он издавал запрещение против грубых языческих суеверий, апокрифических книг и т. п., но для народной массы это была также старина и всеобщий обычай. Собор утвердил некоторые церковные обычаи, перешедшие от старины, но впоследствии, в XVII веке, они были признаны самой церковной властью неправильными, так что Стоглав стал авторитетом для старообрядчества. Далее, объединяя русскую землю и царство в господствующем церковном настроении, естественно пришли к мысли объединить и народные святыни. Некогда отдельные земли и княжения имели свои местные святыни: решено было сделать их предметом общего почитания для русского народа, и в 1547 и 1549 годы произведена канонизация старых местных и некоторых новых святых, а также необходимое для канонизации составление жития. Далее, новым объединительным трудом митрополита Макария было составление громадных «Четиих-Миней», где, в порядке святцев, он хотел собрать все содержание русской церковной письменности, включая и книги Святого писания; так, например, в день пророка Иеремии (1 мая) помещены книги его пророчеств, в день праведного Иова (6 мая) — книга Иова, в день святого Иоанна Богослова (26 сентября) — его Евангелие и Апокалипсис и пр. В Минеях митрополита Макария помещены затем памятники разных отделов древней русской письменности, между прочим, жития святых русских, отчасти составленные именно для сборника Макария. Двенадцать книг Миней первой редакции Макарий положил у святой Софии в Новгороде, в 1541 г., на помин родителей; в Москве он продолжал работу и в 1552 г. окончил вторую редакцию, экземпляры которой положил в Успенский собор и поднес царю. Другим, также характерным трудом Макария была «Степенная книга», впервые начатая, как думают, митрополитом Киприаном. Это был первый опыт последовательной истории: название ее происходит из того, что автор хотел провести историю по генеалогическим «степеням» от первого православного князя Владимира до царя Московского; вначале приведена и

официальная теперь генеалогия от Пруса и Августа Кесаря... В параллель этим произведениям московской литературы становится «Домострой», соединяемый с именем известного попа Сильвестра. Это был сборник житейских и нравственных наставлений, картина нравов и вместе общественный идеал приверженцев старины, тогда именно стоявших во главе общества. Его название стало как бы техническим для обозначения системы воспитания и быта, где за внешним порядком и суровым патриархальным домостроительством, основанным на страхе, не было места для умственного и общественного интереса. Вся указанная литература старалась, таким образом, собрать и привести в порядок данные национальной жизни, как подобает царству, и закрепить их на будущее, для которого не полагалось никакого иного направления. Но что уже настоящее начинало искать иных путей, оказалось в это же первое царствование в деятельности писателя, который восстал и против политических принципов нового царства, и против той скудости просвещения, какой оно довольствовалось. Это был знаменитый князь А. М. Курбский (родился около 1528 г., умер в 1583 г.). Переписка его с Иваном Грозным осталась в нашей литературе единственным памятником своего рода. Царственность была еще недавняя, и Грозный не мог воздержаться от злостных нападений на непокорного, который называл себя потомком древних ярославских князей; но Курбский высказывал и нечто другое — он не признавал ни разумности, ни благочестивости царства, которое видит свое право и величие в бесчеловеческих жестокостях. Изображению характера и деяний Грозного Курбский посвятил целую «Историю великого князя московского о делах, яже слышахом у достоверных мужей и яже видехом очима нашими» — первый, вне летописи, опыт настоящей истории, с определенной темой, с определенным личным взглядом; здесь опять высказывалось его враждебное отношение и к личности, и к политике Ивана Грозного. Была затем другая сторона деятельности Курбского, в которой сказался ученик и почитатель Максима Грека. Курбский радуется благочестию русского народа: «вся наша земля русская, от края и до края, яко пшеница чистая, верой Божьей обретается; храмы Божии на лице ее водружены, подобно частым звездам небесным»; но он скорбит, что в ней нет просвещения: «мы, как аспиды, затыкаем уши от Божьих словес и прельщаемся славой сего мира, ведущего нас по пространному пути в погибель». Некогда храбрый воевода в царском воинстве, он бежал в Литву, спасаясь от грозившего преследования и казни. Живя на Литве, в трудных условиях, он стал учиться; помня сожаление Максима Грека, что многие книги великих учителей еще не переведены на славянский язык, а между тем после взятия Константинополя, переведены уже на латинский, он выучился по-латыни и принялся переводить книги отеческие и ученые, трудясь над защитой православия в Западной Руси, обуреваемой тогда религиозными волнениями. Личность и деятельность Курбского вызвали противоречивые суждения историков: одни осуждали его себялюбивую боярскую тенденцию, его неверные показания в «Истории» Грозного, его личные недостатки; другие находили для него оправдание в условиях времени и, не защищая частных ошибок, высоко ценили это сознание личного достоинства, возмущенное безумным тиранством, это сознание ничтожества тогдашней книжности, исполненной, однако, самодовольства, это стремление к просвещению, побуждавшее учиться в преклонных летах, — наконец ревностную защиту православия, теснимого в родственной Западной Руси. Курбский был самым энергичным и характерным представителем просветительного движения среди общества, государства и церкви, полагавших, что достигнут уже верх славы, могущества и истины. Курбский продолжал то же дело, которое в других формах начинали Нил Сорский и Максим Грек; но это были еще немногие, разрозненные силы, и от господствующей среды им предстояло только преследование. Нил Сорский подпал уже подозрению в ереси; Максим Грек, попав в Москву, половину жизни провел в монастырских тюрьмах; Вассиан Патрикеев обвинен в ереси и заточен. Такому же обвинению подвергся и еще один из среды «заволжских старцев», Артемий: по своему благочестию и книжному знанию поставленный троицким игуменом, потом обвиненный в ереси и заточенный, он бежал в Литву, где вместе с князем Курбским был защитником православия. Всем этим ревнителям, искавшим исправления русской религиозной жизни, не удалось помочь делу.

Видимо, возбужденные, они не сумели сдерживаться и давали против себя оружие: люди, преданные вере и отечеству, обвинялись как враги веры и отечества, а спасителями являлись приверженцы застоя, в котором крылась причина многих настоящих и последующих бедствий. Семнадцатый век наступал в бурях междуцарствия. Литературный труд высказался только в политических посланиях и историях того времени, составленных часть в течение событий, но обыкновенно отредактированных позднее. Большей частью, это обычный книжный стиль летописи и житий, иногда доведенный до уродливости «добрословием», в котором полагалось красноречие, но не считалась обязательной историческая точность. Как видно из любопытнейших песен, сохраненных английским бакалавром Ричардом Джеймсом, который жил в России в 1619-20 годах, народная поэзия не осталась чужда тогдашним событиям: в песнях Джеймса есть образчики самой настоящей и трогательной поэзии, но книга только один раз воспользовалась народным творчеством — в сказании о Скопине-Шуйском. Национальная жизнь вращалась на двух интересах — царства и церковной жизни. Водворение новой династии не встретило затруднений: было много непорядков и потерь, которые предстояло исправлять и вознаграждать, но сама идея царской власти была несокрушима. Она воспитывалась еще с конца XV века, в эпоху междуцарствия даже ложная тень царственности могла привлекать самозванцам приверженцев. В церковном отношении, национальное чувство было поднято тем, что с последних годов XVI века русская церковь имела своего патриарха. Среди забот восстановления ущербов, нанесенных Смутным временем, параллельно с ростом царского авторитета и политического влияния России на юге и востоке, жизнь церковная тянулась тем же старым порядком, в формах обрядового благочестия, в неподвижной приверженности к старине. Заветы Нила Сорского и Максима Грека, убеждения Курбского оставались втуне, и взамен все возрастало национальное и церковное самомнение. «Третий Рим» осуществлялся. Когда угнетенные церкви Востока и самые высшие восточные иерархи присылали в Москву посланцев с просьбами о «милостыне» и с восхвалениями русского благочестия, когда притом в Москве замечали, что на Востоке есть разница в обряде против московского, русские люди убедились, что истинное благочестие находится только у них, что греческая вера под игом поганых испортилась и упала. Но этому самомнению пришлось наконец понести тяжелые испытания. Еще в начале столетия стали сказываться церковные недоумения при встречах с южнорусскими богословами, имевшими свою ученую школу (вопрос о Катехизисе Лаврентия Зизания), при печатании священных книг. При царе Михаиле повторились безобразные обвинения за мнимую порчу книг, как некогда против Максима Грека, и только заступничество иерусалимского патриарха Феофана, бывшего в Москве, побудило к оправданию обвиненных «справщиков» (редакторов изданий). То же повторялось при царе Алексее. Иерусалимский патриарх Паисий, бывши в Москве, заметил в русском обряде и вероучении некоторые неисправности и указывал на них царю и московскому патриарху. В среде самого духовенства, приближенного к царю (духовник царский Вонифатьев и его друзья), были люди, видевшие необходимость более правильного установления церковной жизни, и в этом кругу составлена была «Книга о вере», где, между прочим, именно опровергалось столь распространенное в Москве понятие об упадке греческой веры. Решено было послать на Восток опытного человека, строителя Богоявленского монастыря в Кремле, Арсения Суханова. Он несколько раз ездил на Восток и ему принадлежат два труда, знаменательных для истории тогдашних церковных понятий и тогдашней литературы, весь интерес которой заключался именно в церковных спорах. Из первого путешествия к грекам Суханов вывез «Прения о вере» (с греками, в Молдавии): увидев у греков разные мелкие обрядовые отличия от московских, он убедился, что греческая вера испорчена и что настоящая вера находится в Москве; когда ему приводили ученые богословские объяснения, он отвергал «высокую науку», которой не знал, и утверждал, что это — наука «иезуитская». Грекам он противопоставлял московские учения и обряды, именно ту старую веру, которую утверждали книжники XV-XVI века и которую тщетно старались очистить Нил Сорский, Максим Грек, Курбский и пр. По мнению Суханова, у греков от настоящей веры только



«след остался». Свои укоризны он довел до последнего предела: греки наказаны за свою гордость, царство их отдано басурманам, сами они должны обращаться в басурманство, церкви их превращены в мечети, своих патриархов они сами удавляют и сажают в воду (факты последнего рода действительно были в то самое время). Русское православие стоит превыше всего, и русские могут не обращать внимания на наставления и «зазирания» греков. «Прения» Суханова произвели в Москве неблагоприятное впечатление. Вскоре его опять послали на Восток, в Египет и Иерусалим, изучить церковные обряды и обычаи на месте, но ему сказано было от имени царя, чтобы он писал правду «без прикладу». Он действительно отложил «приклад», т. е. собственные рассуждения, описал обстоятельно виденную церковную жизнь на Востоке, но и не «прикрывал наготы слабости человеческой». Наконец, еще раз, при Никоне, Суханова послали на Афон за греческими рукописями, которые были нужны для исправления книг. Впоследствии Суханов не настаивал на своих мыслях, может быть, изменил их, принимая участие в самом исправлении книг; но его писания стали авторитетом для старообрядства и неудобным пунктом для некоторых церковных историков. Вопрос об исправлении церковных книг принадлежит, в его подробностях, церковной истории; сущность его характерна, как свидетельство о состоянии книжного знания. При отсутствии школ, оно было крайне скудно, и с течением времени, от переписывания книг неумелыми писцами, вкралось множество ошибок в изложении догматов, молитв и обрядов. Церковная власть давно это видела: на Стоглавом соборе это стало целым государственно-церковным вопросом, — но как исправить книги по всему царству и кто исправит их верно? При Иване Грозном основана была первая типография в Москве, — лет через сто по изобретении книгопечатания, — но одичание было так велико, что суеверная толпа разрушила типографию. Печатание книг, однако, началось; оно было правительственно-церковным делом и направилось на первое время исключительно на книги церковные, особливо богослужебные: работали справщики под властью и по благословию митрополита и освященного собора, потом патриарха; книга становилась авторитетом. В конце концов, авторитет делался фатальным: при недостатке школы и невежестве развивалось грубое понимание самой веры, внешнее обрядовое благочестие в ущерб духовному и нравственному, с преувеличением значения обряда (который и долго после того смешивался с «догматом»); явилось и суеверное преувеличение буквы. Но где взять правильные тексты? Справщики употребляли все усилия к тому, чтобы их тексты были правильны, но у них не было средств доискаться правильности, потому что могли быть ошибки и в старых переводах, которыми они пользовались, а затем поправка, ими сделанная, опять могла у невежественных приверженцев старой буквы показаться ересью: что было в первой половине XVI века с Максимом Греком, то повторилось теперь со справщиком Дионисием. Кончилось тем, что книги, которые были напечатаны при патриархе Иосифе и в которых найдено было необходимым сделать исправления при Никоне, стали именно авторитетными в расколе: он основательно, по-видимому, мог утверждать, что стоит за старую веру. Исправление книг, о котором говорили еще на Стоглавом соборе, а затем исправление обряда, стало, наконец, неотложной необходимостью, так что из-за него поднимались уже внутренние раздоры, и вместе с тем вопросом национального достоинства: московские люди с пренебрежением говорили о вере греков, а между тем авторитетные люди указывали немало грубых ошибок в московских книгах и обряде. Но людей, которые могли бы исправить недостатки, не было — и с половины XVII века начинается вызов в Москву ученых киевлян. Русь южная и западная, уже несколько веков оторванные от политической связи с восточной, вели свою культурную жизнь в тяжелых условиях политической зависимости от Польши и религиозной опасности от захватов католицизма. Влияние обеих сил было настойчиво, и русская народность теряла многое: высший класс мало-помалу отрывался от народа, принимая польские обычаи и язык; уния, придуманная как переходная ступень к католицизму, разделила и народную массу в религиозном отношении. Но опасность вызвала противодействие: началась борьба; как средство защиты, явилась работа о школе и типографии; для сосредоточения сил основались братства. Эта церковно-народная деятельность находила

опору в сношениях с константинопольской патриархией. Необходимость борьбы с католичеством привела к основанию училищ с теми же школьными приемами, какими действовала противная сторона. Южные и западные русские братства, школы, типографии составили нравственную силу, какой не знала Москва: эта сила, организованная и общественная, принимала средства наличной науки, давала место самодеятельности. Здесь не было того подавленного состояния мысли, которым создавалось в Москве подчинение букве и обряду, и боязнь «мнения», т. е. критической мысли; наконец, полное бессилие в элементарном вопросе исправления книг. При всех внешних трудностях политического и церковного положения, в Юго-Западной Руси достигнуты были великие результаты: князь Константин Острожский в первый раз издал церковно-славянскую Библию (1580-81); Петр Могила окончательно установил в Киеве высшую школу, коллегию (1631), из которой образовалась позднее академия. Борьба с католицизмом хотя и не обходилась без потерь, без отпадений, но приносила и благие плоды: воспитывала сознательную ревность к народному делу, создавала научную школу, где в первый раз в русскую жизнь проникли воздействия западного просвещения, хотя еще только в схоластической форме. Влияние этой школы сказалось потом в общей русской умственной и церковной жизни с половины XVII века и простиралась до половины XVIII столетия. В Москве почувствовали, наконец, необходимость обратиться к юго-западной школе. Это был характерный исторический момент, с которого начинается перелом. Царь Алексей Михайлович, патриарх Никон, старые московские книжники и справщики, призванные киевские ученые и справщики, ученые греки (как Арсений) были действующие лица исторической драмы, которую продолжали потом другие лица, и в финале которой были с одной стороны раскол, с другой — реформа. Патриарх Никон, в вопросе о преимуществе русской или греческой веры и обряда, принял сторону греческую и, как человек характера до грубости сурового, повел дело решительно и круто: отменил некоторые церковные обычаи (как, например, нескладное пение), устранил прежних справщиков и поручил дело исправления ученым людям, киевлянину Епифанию Славинецкому и Арсению Греку. Епифаний (умер 1675 г.) после киевской школы учился и за границей, и по возвращении назначен был учителем киевской братской школы. В Москве он был во главе ученого братства, вызванного из Киева, любителем просвещения, боярином Ртищевым. Занимаясь исправлением книг в качестве справщика, Епифаний много работал также над переводом творений отцов церкви, что продолжал ученик его, чудовский монах Евфимий, фанатический враг Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева. Епифаний был ревнителем греческого учения, хотя в его писаниях, например многочисленных поучениях, господствует схоластическая преувеличенная риторика киевской школы. Он писал и против раскола, причину которого видел в крайнем невежестве: раскольники — «слепые невежды, едва письмена слати навыкшие, грамматические же хитрости ниже наченшие вкушати». Как приверженец греческого учения, Епифаний жил в Москве мирно; великий келейный трудолюбец, он не мешался в начинавшиеся распри. Но не таково было вообще положение киевлян, приносивших в Москву латинскую ученость, непривычную московским людям. Киевские богословы не пользовались доверием у московских людей старого закала: в их учености, мало вразумительной москвичам, подозревали латинство; старые справщики, лично оскорбленные, видели в новоисправленных книгах порчу веры и вскоре стали во главе раскола. Ссора между царем и властолюбивым патриархом, суд вселенских патриархов над Никоном, умножали волнение. Ссылка главнейших предводителей раскола, поднимавших настоящее церковное восстание, только разжигала религиозные страсти; гонимые расколоучители становились страдальцами за веру и приобретали тем больше прозелитов, и их религиозная ревность вскоре перешла в страшный фанатизм. Царь был бессилен среди этого раздора: он должен был поддерживать постановления церковной власти, и в то же время сочувствовать втайне ревнителям веры, которые были некогда почитаемы в его семье. Раздор перешел в литературу, по крайней мере, рукописную. Защитники старой веры не оставили «новшеств» без ответа: в посланиях к единомышленникам, в особых трактатах, они писали

озлобленные обличения, осыпали проклятиями своих противников, и, не перенося нарушения священной старины, которая одна, по их мнению, давала душевное спасение, не умея объяснить себе страшного дела (на сторону которого становился и сам царь), решали, что приходят последние времена и антихрист уже явился в лице Никона. Против исправления книг, против преследования, против обличений, какие издавала церковная власть, со стороны раскола явилась обширная литература. Она заключает в себе догматические и обрядовые опровержения новой веры, послания, исторические рассказы. В эту первую пору самым сильным и оригинальным писателем раскола был знаменитый протопоп Аввакум. Типический представитель старой веры, богатырская натура физически и нравственно, он перенес заточения, тюрьмы, пытки, ничего не уступив из своих убеждений, и пользовался великим авторитетом в своей среде. Из своего заточения в Пустозерске он продолжал свои обличения и, наконец, «за великие на царский дом хулы», был сожжен (в 1681 г.). Он был сурово благочестив по старой вере, не останавливался перед обличением сильных людей, строго поучал, даже бил за грехи своих прихожан. Этому отвечал и язык его писаний — резкий, образный, своеобразно соединявший церковную терминологию с чисто народной речью. Таковы его послания, такова его автобиография, чрезвычайно любопытная по содержанию и по выразительному языку. Писания Аввакума остались единственными в своем роде. Развитие раскола произвело целую литературу, до сих пор не вполне исследованную. Расколуучители действовали посланиями, как протопоп Аввакум и диакон Федор, защищали свое дело «челобитными», обращенными к правительству, как, например, суздальский священник Никита Добрынин, прозванный Пустосвятом, романовский священник Лазарь, челобитная соловецкая, позднее, писания братьев Денисовых и т. д. Далее, раскол имел своих историков, как Филиппов, написавший историю Выговской пустыни. Когда фанатизм раскола, еще при жизни Аввакума, дошел до целого учения о самосожжении, последователи которого сжигались сотнями и тысячами, это вызвало в среде самого раскола «Отразительное писание», единственное в своем роде по страшным картинам самосожжения. С другой стороны, с конца XVII века начинается обширная литература обличений раскола: «Жезл правления» Симеона Полоцкого, «Увет духовный», с именем патриарха Иоакима, Опровержение Соловецкой челобитной Юрия Крижанича, «Розыск о раскольничьей брынской вере» Дмитрия Ростовского, окружные послания сибирского митрополита Игнатия и т. д. Эти обличения, настаивая на невежестве последователей раскола, отличаются обыкновенно крайней нетерпимостью; рядом с ними шли суровые административные преследования. В том же тоне они продолжались и потом: беспристрастное научное исследование раскола и вместе с ним, более гуманное и справедливое отношение к расколу началось только в новейшее время с конца пятидесятих годов. Между тем киевское направление приобретало новых деятелей. В Москве поселился Симеон Полоцкий (1629-80), белорус, довершивший свое ученое образование в киевской коллегии, где он овладел всеми приемами латинской схоластики и риторства. Симеон сделался известен царю Алексею в 1656 г., когда в одни из приездов царя в Полоцк, поднес ему приветственные «метры». Около 1663-64 г., когда в Полоцке, занятом поляками, становилось небезопасным пребывание приверженцев русской власти, Симеон переселился в Москву, имея от своего учителя, Лазаря Барановича, рекомендацию к жившему тогда в Москве газскому митрополиту, ученому Паисию Лигариду. Здесь он нашел новых покровителей в двух восточных патриархах, прибывших в Москву по делу Никона, и положение его установилось прочно: ему поручили устроить школу в Спасском монастыре за Иконным рядом (будущая Заиконоспасская академия), он назначен был учителем царских детей, по поручению собора написал книгу против раскола («Жезл правления», 1666), стал придворным проповедником (причем настаивал особенно на необходимости школьного учения), стихотворцем на разные случаи. Его многочисленные проповеди в двух сборниках изданы были после его смерти: «Обед душевный» и «Вечеря душевная» (1681-1683). Его плодовитое стихотворство собрано в «Вертограде Многоценном» и «Рифмологионе». Наконец, он писал и драматические произведения: «Комедия о

Навуходоносоре царе» и «Комедия притчи о Блудном сыне»; последняя издана была с многочисленными картинками в 1685 г. Симеон Полоцкий был типичный писатель киевской школы; в Киеве он не был бы ничем исключительным, но его историческое значение в том, что он явился представителем этой школы в Москве, в среде книжников старого закала. Он был ученый богослов-схоластик, но и убежденный защитник «вызволенных наук» (*artes liberales*), школы и светской книжности; с ним начинается, хотя еще в грубом зародыше, поворот литературной жизни, искание нового содержания и новой формы; по образовательным стремлениям он был предшественником других киевлян, которые стали потом ревностными сотрудниками реформы. Ближайшим учеником Симеона был Сильвестр Медведев (родился 1611, казнен в 1691 г., за мнимое участие в заговоре Шакловитого), наследовавший от него ученость, но не осторожность. Симеон не был любим московской иерархией; в нем, как вообще в киевлянах, подозревали склонность к латинству, но его спасала близость ко двору; теперь враги называли Медведева учеником иезуита. Медведеву принадлежат несколько ценных трудов (в некоторых случаях его авторство оспаривалось, но без достаточных доказательств): «Оглавление книг, кто их сложил» — первый опыт русской библиографии; «Известие истинное» и пр. — история исправления книг; «Созерцание краткое» и пр. — известия о Стрелецком бунте 1682 г. Затем он вмешался в догматический спор (о пресуществлении святых даров на литургии), обвинен был в латинстве, навлек на себя ненависть патриарха Иоакима (о нем Медведев даже на пытке не усомнился сказать, что патриарх — из военных людей — «учился мало и речей богословных не знает»), привлечен был к розыску о Шакловитом и погиб. Догматический спор о пресуществлении хлеба и вина на литургии прикрывал борьбу двух партий. Почва борьбы была опять церковная; раскол был внешним образом подавлен, но теперь шел спор латинского схоластического учения, которое представлял Медведев, и «греческого учения», которое защищали монах чудовский Евфимий, ученик Епифания Славинецкого, и ученые греки, братья Лихуды (Иоанникий, умер в 1717 г., Софроний, умер в 1730 г.), приехавшие в Москву в 1685 г., с рекомендациями константинопольского патриарха и здесь ставшие приверженцами патриарха Иоакима. Последний был упрямый приверженец старины, враг царевны Софьи; Медведев, напротив, был ее почитателем, ожидая от ее партии успехов просвещения, и противником греков, которые, в лице Лихудов, были слугами обскурантизма, ссылаясь, однако, на свои науки. Медведев укоряет своих противников за слепую веру в греков, «яко младенцы и яко обезьяна человеку последующе», и указывал необходимость собственного просвещения. Роль Лихудов была здесь не из лучших; но впоследствии они сами подвергались гонению, а затем, при Петре Великом, когда обстоятельства изменились и не было почвы для полемических услуг, они много работали в духовных школах, составляли учебники и т. п., все в том же схоластическом направлении, какому принадлежала их собственная ученость. В стороне от политических и церковных волнений держался Димитрий Туптало, впоследствии митрополит Ростовский, питомец той же киевской школы (1651 - 1709); главным трудом его было составление обширных Четиих-Миней, на основании труда митрополита Макария, греческих и латинских источников; известен, затем, его «Розыск о раскольничьей брынской вере». Димитрий был человек мягкого нрава и совершенно свободный от московского изуверства, но был суровым врагом раскола, который был в его глазах плодом грубого невежества. В Ростове он основал школу, которой с любовью занимался; он хорошо знал классиков, следил за ученой латинской литературой и ужасался невежеству духовенства в своей епархии. Ко второй половине XVII века принадлежит еще одна книга, которая, как в конце XVI столетия писания Курбского, открывала среди умственного тумана просветы общественного самосознания. По условиям старой литературы, которая все еще была письменностью, литературный труд не всегда доходил до массы общества. Случайности, как заграничная жизнь Курбского, могли затруднять распространение книги; сочинение Григория Котошихина было совсем неизвестно современникам. Котошихин (родился около 1630 г., умер в 1667 г.), подьячий посольского приказа, бежавший из России, поступивший на службу в Польше, потом в Швеции



и казненный там за убийство, остался бы безвестным перебежчиком, о котором сохранилась строчка в бумагах посольского приказа: «И в прошлом в 172 < 1664 > Гришка своровал, изменил, отъехал в Польшу», — если бы в 1837-38 годах профессор Гельсингфорсского университета С. В. Соловьев не нашел в шведских архивах сочинения Котошихина в шведском переводе, а потом, в библиотеке Упсальского университета, и в русском подлиннике. Сочинение Котошихина является одним из важнейших и в своем роде единственным источником для изображения внутренней жизни Московского государства в половине XVII столетия. Сочинение написано после бегства и закончено в Швеции. Автор был человек умный и наблюдательный; *ingenio incomparabili*, как говорил его шведский биограф. Открытие сочинения Котошихина важно потому, что книга представила новый богатый источник сведений о старом русском быте и вместе с тем является случайно сохранившимся отголоском неясного движения в пользу нового образования. Котошихин относится отрицательно к московскому быту, осуждает грубость нравов, недостаток просвещения — и это было именно предчувствие иного порядка вещей, инстинкт общественного сознания, подготовлявшего новый период общественной жизни и образования. Среди самих московских людей созрело сознание своей культурной отсталости, и в этом сознании был уже шаг к заботам о просвещении. В царствование Алексея Михайловича явился брат-славянин из далекой Хорватии, католический священник Юрий Крижанич, с целыми планами политическими и просветительными, исполнение которых должно было возвеличить единственное свободное славянское государство, надежду всего славянства. Он писал ученые трактаты (о славянском языке), высказывался по русским церковным вопросам (опровержение раскольничьей Соловецкой Челобитной, сочинение об обряде крещения и др.) и, главное, написал обширный труд о русском государстве, которое нуждалось в просвещении и сознании своего политического значения. Но проповеднику просвещения и возрождения славянства не посчастливилось в Москве: он приехал туда в конце 1659 г., а в январе 1661 г. был уже сослан в Сибирь. Как было с Котошихиным, так случилось и с Крижаничем: их труды остались бесплодны для их современников; они разысканы только новейшей археографией, в единственных экземплярах — их собственных рукописях. Они не вошли в свое время в литературу и стали только историческим свидетельством о движении умов той эпохи.

Заканчивая обзор древнего периода русской письменности, должно остановиться на одном ее отделе, который стоял особняком, только в отдельных случаях вмешиваясь в ее общее течение, и в целом представляя в ней элемент эпической фантазии. Христианская письменность отнеслась враждебно к подлинным элементам эпоса и лирике в народной поэзии, но уже с древнего периода появляются переводные произведения поэтического характера, приходившие на первый раз из византийского и латино-романского источника, через южнославянское посредство. Такова была Александрия, баснословная история Александра Македонского, чрезвычайно распространенная между книжниками в редакциях болгарской, сербской и позднейших. Основа псевдо-Каллисфена, возникшая в Александрии, была потом распространена на славянской и на русской почве; в конце концов македонский герой был христианизирован, к нему приурочены апокрифические сказания (Мефодий Патарский, Макарий римский и прочие). Трояские сказания известны были в древнем периоде в виде «Притчи о кралех»: она имела латино-романский источник, переведена была первоначально, по-видимому, в западносербских краях (в Далмации или Боснии) и перешла на славянский восток; в сокращенном и значительно обрусевшем виде она была очень распространена в хронографах, а также отдельно, под названием «Повести о создании и о племени Тройском». Позднее явился перевод еще одной латинской истории о Трое, Гвидона де Колумны, которая была в числе первых печатных книг Петровского времени. В том сборнике, где найдено было «Слово о полку Игореве», находилось Девгениево Деяние, отысканное потом в двух более поздних рукописях; позднее, найден был и греческий прообраз «Девгения» — византийский героический эпос X века из борьбы византийцев с сарацинами. Как можно судить по сличению славяно-русской повести с византийскими редакциями, в первой стерлись черты исторические

и любовные, и взамен усилен элемент религиозный, выдвинута на первый план борьба православных с поганами. К тому же циклу относится очень любимая в старину повесть о царе Синагрипе (Синографе) и его мудром советнике Акирии (Акире), также византийского происхождения, основана на чрезвычайно распространенном мотиве состязания в мудрости задачами и загадками. Далее идет знаменитое в средние века сказание об Индийском царстве или царстве пресвитера Иоанна, заключавшем необыкновенные богатства и чудеса природы: сказание переведено с латинского, быть может, еще в XIII или XIV веках, и вероятно, в той же западносербской области, откуда вышла Троянская притча и сербская редакция Александрии. К XIV и XV векам относятся старейшие списки знаменитой повести о Варлааме и Иоасафе: греческая переделка сказания о жизни Будды, составленная в половине VII века, получила христианский догматический и нравоучительный характер и великую славу в средние века на Западе и на Востоке; она дважды была напечатана у нас в XVII веке. Притчи Варлаама, которыми он поучал царевича о тщете мирской суеты, были очень любимы; имя царевича Иоасафа стало священо в народной поэзии, с ним соединен известный духовный стих, воспевающий красоты пустыни и спасительность пустынного жития. Повесть о Стефаните и Ихнилате опять имеет первый источник в Индии, в Панчатантре, переведенной в VI веке на пеглевийский язык, под именем Калилы-ва-Димны (Прямодушный и Лукавый, имена двух шакалов, рассказывающих апологи): отсюда повесть перешла на все литературу средневекового Востока и Запада, и с греческого источника был сделан южнославянский перевод, по-видимому, не позже XIII века. Многочисленные повести о царе Соломоне были вместе с тем и «отреченные книги», упомянутые уже в старейших редакциях статьи о ложных книгах. Эти «отреченные» сказания говорят о царе Давиде, завещавшем Соломону строение храма, об этом строении, на которое были употреблены бесчисленные богатства, о власти Соломона над демонами, о приходе царицы Савской, спорившей с Соломоном мудрыми загадками: о Соломоновых судах, о Соломоне и Китоврасе. Библейская история представляет уже Соломона в ореоле особенного величия, как мудрого царя и боговдохновенного писателя; апокриф еще возвеличивает его мудрость до власти над демонами, а с другой стороны, повесть о Соломоне и Китоврасе переходит в романтическую сказку. Сказания о детстве Соломона принимают, наконец, народный стиль, а спор с Китоврасом вошел целиком в былинку о Василье Окуловиче. Вероятно, под влиянием сказаний о мудрых загадках составлена была и русская старая повесть о купце Басарге и сыне его Добромысле. В среднем периоде горизонт повести расширяется. Вероятно, в конце XV века написана была полуисторическая повесть о мутьянском (молдавском) воеводе Дракуле — историческом лице, известном своей жестокостью. К концу XVI века относят «повесть о Динаре царице» — грузинской Тамаре, XII-XIII столетия: повесть, рассказывающая подвиги ее в войне с персидским царем, была переведена на русский с греческого (стихотворного) подлинника. К временам Грозного относятся полуисторические повести о турецком царе Махмете и волошинском воеводе Петре, под именем некоего Ивана Пересветова (очевидно — псевдоним), с намеками на московское царство. Мораль была не особенно глубокая; думают, что повесть должна была представить оправдание жестокостей Грозного. Турский царь говорил: «аще не такой грозой великий народ угрози, ино и правды в землю не введи... и как конь над человеком без узды, так и царство под царем без грозы». Волошский воевода восхваляет Московское царство, но вычитал в своих мудрых книгах, что будет на царя «ловление от ворожеб и от кудес, от людей ближних», — этим Иван Васильевич и оправдывает свои злодеяния. Наконец, «повесть некоего боголюбивого мужа», из того же времени, предостерегала некоего царя от чар и волхования коварных синклитов. Далее, были повести неясного восточного происхождения: сказание о двенадцати снах царя Шахаиши, предвещательного, эсхатологического содержания; знаменитый Шемякин суд, восточный рассказ, имевший длинную литературную историю и странно приуроченный у нас к князю XV века Дмитрию Шемяке; сказка о Еруслане Лазаревиче, с сюжетом из персидской Шах-наме. — Более поздний слой нашей старой повести отмечен западным влиянием, проводником которого были Польша

и Западная Русь. Этим путем шли особенно западноевропейская повесть, средневековые сказочные сборники, рыцарские романы, шуточные рассказы и т. п. Одним из старейших, если не самым старым памятником этого рода был Бова Королевич и рядом с ним Тристан, два рыцарские романа, из которых один стал знаменит, как народная сказка, другой — известен пока лишь в единственной старой рукописи, указывающей путь их прихода в русскую письменность. Старейшая форма «Бовы» и «Тристана» сохранились в белорусском сборнике повестей XVI века; в белорусском тексте указано, что он взят из «сербских книг», а последние несомненно переведены с итальянского, которого след заметен во многих словах и оборотах. Сербский перевод итальянского романа указывает опять же на ту же область западных влияний, из которой вышли Троянская притча и сербская редакция «Александрии». В той же белорусской рукописи находится повесть об Атыле, короле угорском, легендарная история Атиллы. Встречаются также рыцарские и чудесные повести чешского происхождения: история о королевиче Брунцвике, наполненная чудесными приключениями в неведомых сказочных странах, история о Василии королевиче Златовласом, сказка о разборчивой невесте, имеющая много параллелей в народных сказках и в литературе. Из польского источника пришла одна из знаменитейших средневековых книг — Римские Деяния, сборник распространенных историй, составившийся путем постепенного накопления рассказов, сначала на латинском языке и обошедший все европейские литературы. Другой сборник, занятый специально назидательными повествованиями — Великое Зерцало, название которого объясняется его громадностью: в русских редакциях число повестей простирается до девятистот. Первым началом сборника было средневековое *Speculum exemplorum*, собрание повестей, служивших для назидательного чтения и как материал для проповедей. В XVII столетии оно было расширено в громадную книгу иезуитом Майером: рассказы распределены по рубрикам, снабжены указанием источников и объяснениями, изобилуют чудесами: мораль отличается обыкновенно аскетизмом, а также особым духом иезуитского ханжества. Русский перевод книги с польского сделан был по желанию царя Алексея Михайловича, и был очень распространен в старых библиотеках, в полном составе или в отдельных статьях. Далее, с польского взята знаменитая повесть о Семи мудрецах, также индийского корня; она распространилась по всем литературам Востока и Запада, испытала разные видоизменения, и уже в конце своего литературного поприща явилась на русском языке. Во второй половине XVII века идет новый приток западного чтения, главным образом, если не исключительно, через польскую литературу. За началом, которое дали раньше Бова и Тристан, последовали теперь: «История о Мелюзине», «Петр Золотые Ключи», «Повесть о преславном римском кесаре Октавиане», об «Аполлоне, короле тирском», повести шуточные, как, например, «Смехотворные повести», неясного происхождения повести, с легендарными и апокрифическими отголосками, о траве табаке, о высокоумном хмеле. К старым рукописям восходят «Судное дело у леща с ершом», повесть «о курае и льстивой лисице» и т. д. Появляются, наконец, попытки бытовой повести. Начало ее можно видеть, в другой литературной форме, в старых житиях, например, житии Петра и Февронии. В «чудесах» славных икон или особенно чтимых святых приводились рассказы, составлявшие своеобразную повесть, как, например, историю о «бесноватой жене Соломонии» в чудесах святого Прокопия и Иоанна устюжских. В области житий, но близко к этой последней истории, является повесть о «Савве Грудцыне», с бытовой основой и нравоучительно-легендарными потребностями: действие происходит во времена царя Михаила. По-видимому, концу XVII века принадлежит и «История о российском дворянине Фроле Скобееве и стольничей дочери Нардина-Нащокина Аннушке» — настоящая бытовая повесть, с живыми чертами нравов и с оттенком народного юмора, хотя нравы первобытны и настоящего романтического элемента нет. К концу XVII века можно отнести, наконец, одно из замечательнейших произведений старой поэзии, где легендарные мотивы народного мировоззрения и черты реального быта нашли выражение в форме чрезвычайно свежего народного стиха; это — «Повести о Горе-Злосчасти и как Горе-Злосчастье довело молодца во иноческий чин». Старая повесть незаметно переходит в новый

слой повести петровского времени и вообще первой половины XVIII века. Переводная деятельность, начавшаяся в XVII столетии, продолжает разрастаться, когда увеличивается знание иностранных языков. Литература повести по-прежнему живет в рукописях; за первую половину XVIII века существует большая масса разнообразной рукописной повести, где продолжают обращаться старые переводы, вместе с более поздними: к рыцарским историям присоединяются истории любовных приключений, настоящие романы, иногда огромного объема: являются переводы знаменитых произведений европейской литературы, как «Потерянный рай» Мильтона, «Телемак» Фенелона (переведенный еще до Тредьяковского) и др., и, наконец, русские опыты, под влиянием переводных историй, с любопытными отголосками брожения в русских нравах. Эта рукописная повесть опять незаметно сливается с печатной литературой. При Петре напечатана была старая популярная Троянская история; в шестидесятых годах XVIII века стала впервые распространяться литература переводного романа, и в том числе явились в печати многие вещи, ходившие в первой половине столетия в рукописях. Наконец, стала искать своего права в письменности чисто народная поэзия. Древнейшие книжники, с вновь приобретенной христианской точки зрения, презирали и осуждали эту поэзию вместе с народным обычаем как остаток язычества, и потому дело бесовское и греховное. С одиннадцатого века до конца семнадцатого не прекращаются эти осуждения в церковных поучениях, в посланиях иерархов, в постановлениях соборов, в царских грамотах; но все это оказывало мало действия в народном быту, особливо сельском, где народная песня, бытовая обряд, игра составляли единственную поэтическую пищу и веселье. Народная песня продолжала существовать, только не в книге: высокоумный книжник считал ее ниже своего благочестия и достоинства. «Слово о полку Игореве» осталось единственным памятником своего рода, и затем только в единичных случаях отголосок народный проникал в книгу, но в народе поэзия продолжала жить и развиваться. За отсутствием данных трудно судить о процессе этого развития, но сохранившаяся донине былина указывает, что народный эпос сберегал нередко весьма древние эпические мотивы (былины Владимирового цикла), что затем он еще живо действовал в наши средние века, внося в свой состав новые сюжеты (эпос новгородский, былины южнорусские) и даже заимствуя свой материал из книжных источников (былины на темы из сказаний о царе Соломоне). Заезжий англичанин, бакалавр Ричард Джеймс, сохранил от начала XVII века записи современных ему песен (о Ксении Годуновой). Вероятно, с древнейших времен, а в середине века несомненно, народная песня, особливо эпическая и шуточная, имела своих специальных носителей: это были скоморохи, народные увеселители, певцы, фокусники и актеры. Власть, наконец, принимала против них меры; они ходили многочисленными ватагами, человек по сто, и совершали насилия; самые песни и «глумы» их были «бесовские». В конце концов, когда грамотность становилась гораздо шире, чем прежде, нашлись любители песен, которые стали записывать их: записей от XVII века, может быть конца XVI, сохранилось немного — это обыкновенно былины. К началу XVIII века относится запись Кириши Данилова, без сомнения продолжающаяся тот же старый интерес к песне: его сборник — также почти исключительно эпический. Производительность песни продолжалась и в XVIII веке (песни о Петре Великом, военных событиях и т. п.). Далее, продолжала существовать, кроме эпоса, другая, еще более богатая область народной поэзии — обрядовая и бытовая лирика и так называемые мелкие эпические песни. Здесь, даже еще в большей степени, чем в эпосе, сохранилась далекая древность, с намеками на языческий быт и обряд: они сохранились консервативными народными обычаями, теряя первоначальное, прямо мифическое значение, и оставаясь поэтическим символом или увеселением в годовом календарном обиходе народной жизни; особливо сельской. Этой памятью обычая песня сберегалась не только в сельском, но и купеческом, наконец, дворянском помещицком, связанном с деревней, быту, до второй половины XVIII века, когда она в первый раз была закреплена в печатных «Песенниках». Но жизнь народной поэзии была не только пассивным сбережением, а также забвением и изменением старины: совершалось и новое творчество. Так



развивалась былина после киевского цикла. В народной поэзии выразилось и то средневековое мировоззрение, которое, после водворения христианства, стало складываться в умах народной массы в форме «двоеверия». Здесь все больше занимала места легенда, особенно апокрифическая, так как самый апокриф часто имел именно популярное происхождение. В этом народном мировоззрении имели свой источник духовные стихи. Их основа — книжная, но разработанная в смысле религиозной фантастики: их материал дан евангельской историей (Христос, Богородица, Лазарь, Страшный Суд), житиями святых (святой Георгий, Алексей Божий человек, Федор Тирон), сказаниями космогоническими («Голубиная книга»), благочестивыми повестями (стих о царевице Иоасафе) и т. д.

## **История русской литературы XVIII век – первая половина XIX века**

В прежнее время существовало убеждение, а в обычных понятиях и теперь сохраняется мнение, что новый поворот русской государственной и общественной жизни с восемнадцатого века был исключительно результатом личной деятельности Петра Великого. Для одних это было великим делом, давшим русскому народу и государству новую широкую историческую роль на почве европейского просвещения, для других — почти революционным переворотом, настоящим преступлением, потому что Петр изменил началам русской народности и дал истории русского народа ложное и зловерное направление. Спор об этом не кончился, в сущности, и до сих пор в области публицистики; но он должен считаться конченным в области исторического исследования, которое, главным образом со времен Соловьева, объясняет реформу Петра как естественный и неизбежный вывод из предыдущего развития. Сообразно с этим, начало нового периода в истории русской литературы должно считать не со времени Петра, а ранее; приблизительно с половины XVII века, когда особенно ярко стали сказываться первые признаки ослабления московской старины XV-XVI века и весьма неясного на первый раз стремления к европейской науке. Давно указано, что первые признаки потребности дополнить скудные домашние знания с помощью иноземцев восходят еще к XV веку; чем дальше, тем все размножаются вызовы иноземцев, составивших наконец под Москвой целую колонию — „Немецкую слободу“. Иноземцы исполняли всякого рода технические работы для двора и для государства, работы необходимые, но для которых у русских просто не было знания; с простыми техниками приходили, наконец, более или менее ученые люди, и русские на первый раз с немалым страхом видели опыты естественно-исторического знания. В Немецкой слободе цари Михаил и Алексей имели не только знающих техников, но и специалистов военного дела: в той же слободе царь Алексей нашел опытных людей, устроивших для него первый театр, который, как известно, привел его в великое восхищение. В то же время, особливо со второй половины XVI века, в письменность, еще хранившую церковно-славянское одеяние, все больше проникают переводы книг, более или менее научного характера, с западноевропейских языков. Для беспристрастного взгляда не подлежит спору, что это было уже движение в духе позднейшей реформы. Рядом с этим шло другое, столь же знаменательное явление, указывавшее, что старая Русь времен Стоглава отживала свое время: это было исправление книг. Этот труд, необходимость которого еще в начале XVI века указывал Максим Грек, и в половине XVII века был непосилен московским книжникам, но по крайней мере, эту необходимость поняли сполна и, осознав недостаточность своих средств, обратились за помощью к той науке, которая в XVI и XVII веке успела зародиться на родственной, хотя исторически давно разъединенной почве

— в Южной и Западной Руси. Сила вещей привела не только к исправлению книг, но и к подрыву целого старого мирозерцания, каким жили люди старого века: вера в букву писания, внешнее обрядовое благочестие, целый запас фантастических понятий, выросших на старой почве, должны были отступить перед требованиями знания, хотя бы на первый раз тяжело схоластического. Защитники старины чуяли в этих нововведениях что-то „латинское“, — и до известной степени были правы: киевская наука устанавливалась по образцам латинских школ и люди старого века в Москве не могли понять, чтобы средствами схоластической науки могло быть защищено православие. Обе стороны совсем не понимали друг друга, и в результате совершили раскол — действительное распадение между первобытной „старой“ верой и новым церковным учением, которое стремилось основать по возможности научное богословие и исправить церковную жизнь. Протопоп Аввакум, чистейший питомец старой Руси, с верным инстинктом говорил, что в их учении была „последняя Русь“, и по-своему объяснял, с какой поры началась гибель этой Руси, говоря, что видел в аду „миленького“ царя Алексея. Действительно, при царе Алексее началось падение этой старой Руси и наступил новый период русской жизни. Наплыв киевской учености в Москву был началом новой литературы. Правда, киевская наука была специально-церковная и схоластическая, но это была, во всяком случае, черта науки европейской: в схоластике до Киева доходил отголосок Возрождения, известное знакомство с классиками, даже вкус к ним. Приходила впервые риторика и пиитика, т. е. теория какой-то новой литературы: этой литературы еще не было на русском языке, но она заявила уже о своем будущем водворении. Питомец киевской школы Симеон Полоцкий был, собственно говоря, первым русским псевдоклассиком — в той же форме, какую потом применял Кантемир: в неуклюжих стихах Симеона Полоцкого шла уже новая литературная струя, чуждая прежней письменности, как в то же время она пробивалась в драматических опытах пастора Грегория. Эти начинания появляются задолго до деятельности Петра; в его время приемы литературы остаются те же, и главными литературными деятелями являются по-прежнему ученые киевской школы — Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Гавриил Бужинский и другие. Новая литература, отмеченная специально возбуждениями реформы, — деятельность Кантемира, Тредьяковского, Сумарокова, особенно Ломоносова, — наступила уже после Петра, главным образом с половины XVIII столетия. Но если в специально-литературном отношении реформа не была началом нового направления, то личность и деятельность Петра стали, однако, могущественной опорой нового направления и создали для дальнейшего времени нравственное и умственное возбуждение такой силы, какого русская жизнь не испытывала ни раньше, ни позже, и которое действует даже до сих пор, через два века последующей истории. В русской жизни явился человек исполинской силы характера и замыслов, который как бы по исторической необходимости хотел восполнить то, что было потеряно веками застоя, невольного и вольного, и спешил установить новую политическую эпоху и умственную жизнь русского народа. Совершенно понятно, что свои главные усилия он направил на политическое укрепление государства: войско, флот, техническая школа, фабрика и завод, администрация были главные предметы его заботы; он был довольно равнодушен к тем специально-церковным вопросам, которые одни поглощали все внимание прежнего времени и его ближайших предшественников; он не строил никаких теорий, но сам „на троне вечный был работник“ и строго требовал такой же работы от других. При всех тягостях его времени его имя осталось символом неутомимого труда и высокого самоотвержения на пользу государства, в котором олицетворялась для него вся народная жизнь. Эта энергия, источником которой была поистине беззаветная любовь к родине, и необычайные результаты, приобретенные ценой гениально-разностороннего труда, послужили тем нравственно-общественным стимулом, который создал великое историческое значение Петровской реформы. Петр не мог остаться чужд литературе или книжному делу. С его именем и деятельностью связываются черты, неизвестные старой письменности и ставшие потом неизменной принадлежностью литературной жизни. Чуждый старым церковным интересам, он старался дать литературе светский, т. е. реально-жизненный и общественный

характер. Изменилась самая внешность книги. Так называемая гражданская азбука отделила светскую книгу от церковной. В прежнее время книга была почти только церковная и издавалась „по благословию церковной власти“; теперь книга, хотя и оставалась делом по преимуществу официальным, но могла издаваться только „повелением царского Величества“. Содержание книги нередко бывало совсем невиданное. Цель Петра была двоякая: с одной стороны, он хотел дать книги с учебным материалом и техническими сведениями; с другой, он усиленно, и опять впервые, заботился о том, чтобы ввести общество и самый народ в свои планы, объяснить необходимость и пользу преобразований, приобщить народ к своему делу, найти сознательных исполнителей. Отсюда печатание во всеобщее сведение „реляций“, основание первых „ведомостей“, целые сочинения для объяснения политических мер и событий, шумные празднования побед, с иллюминациями, фейерверками, аллегорическими картинами и т. п. Печатались книги по истории, географии, мифологии, чтобы ввести читателя в содержание европейской литературы. В книгах исторических, переводимых с иностранных языков, Петр настаивал, чтобы сохранялись неизменно отзывы о России, хотя бы неблагоприятные. Наконец, он принимал непосредственное участие в самом издании книг: собирал сведения, указывал, что должно перевести, заботился о приготовлении переводчиков, сам просматривал и правил переводы и корректуры, иногда занимаясь этим на походе. Ближайшие сотрудники его в этом деле были люди церковные, но среди которых находились ревностные слуги реформы. Таков был в начале Стефан Яворский (1658-1722); ему Петр поручил „местоблюстительство“ патриаршего престола, закрытого с тех пор, как в обоих последних патриархах Петр видел только врагов своего. Позднее с Яворским сказалось иерархическое властолюбие, и Петр разошелся с ним, хотя снисходил к нему. Самым ревностным сотрудником Петра был Феофан Прокопович (1681-1736). Феофан был в жизни тогдашнего русского общества явлением исключительным, но весьма характерным: человек сильного ума, ученый-богослов, влиятельный иерарх и участник в законодательстве, он был в свое время наиболее образованным человеком в русском обществе. Это была именно такая сила, какая нужна была Петру: человек с умом именно критическим, он, как и сам Петр, был чужд всякому фанатизму и хотел опираться только на здравый смысл. Когда уже после смерти Петра съехались в Петербург немецкие ученые в только что открытую академию, Феофан стал с ними в самые дружеские отношения; по его смерти один из них, Байер, оставил самые восторженные отзывы о великом его уме и учености. Такими же питомцами киевской школы были другие сотрудники Петра, переводчики и проповедники: Феофилакт Лопатинский, Бужинский и др. Под крылом Феофана установилась литературная деятельность князя Антиоха Кантемира (1708-1744): сын молдавского господаря, учившийся в России, по рождению и школе чуждый старому преданию, он вооружился против старины именно потому, что видел в ней вражду к новому образованию, которое понимал как жизненную необходимость. Его ставят обыкновенно во главе новой литературы как сатирика, воспитавшегося на идеях реформы. Фактически это не вполне точно, так как сатиры его были изданы в первый раз много спустя после его смерти, когда в литературе проходил уже Ломоносов, а его стихотворная форма — силлабический стих, наследие от времен Симеона Полоцкого — в это время давно устарела. Время Петра начинало создавать своих людей. Любопытны, прежде всего, путешествия петровского времени — боярина Б. П. Шереметьева, стольника П. А. Толстого, князя Б. Ив. Куракина, графа А. А. Матвеева, Ивана Ивановича Неплюева и др., — где наглядно и нередко чрезвычайно характерно отражается столкновение двух веков и двух ступеней развития, и новое мирозерцание видимо начинает брать верх новостью и богатством своего содержания. Правильной школы все еще не было, но широкий горизонт новой жизни увлекал людей серьезного ума, которые, помня заветы старины, кровно с ней связанные, становились, однако, ревностными поборниками преобразований. Таков был крестьянин Иван Тихонович Посошков (1652-1726), самоучка старого века, который здравым смыслом и наблюдением приходил к убеждению в необходимости просвещения и преобразований. Не менее, если не более замечателен питомец петровского времени В. Н.

Татищев (1685-1750). Он учился только в технической школе, был самоучкой в вопросах философской и исторической науки, которые, однако, очень сильно его интересовали. Он познакомился, сколько мог, с тогдашним положением исторической науки, был знаком с скептическими взглядами Бейля, и в своих исторических трудах был склонен к сомнению и рационализму. Понятно, что он был настойчивым защитником науки („Разговор о пользе наук и училищ“): это был уже самостоятельно выработанное убеждение, как самостоятельно возникла у него и мысль написать русскую историю. Татищев застал это дело почти на той ступени, какую представляли собой „Степенная книга“ и „Хронограф“. Попытка дать нечто систематическое вызвала во второй половине XVII века „Синописис“ Иннокентия Гизеля, нескладную книгу с историческим баснословием и скудными данными о России Московского периода. В 1715 г. секретарь русского резидента в Швеции, князя Хилкова, Манкиев, живший вместе с ним в плену, опять человек малороссийской школы, составил замечательное по времени и по личным условиям автора обозрение русской истории до времен Петра (до 1712 г.), но его книга оставалась в рукописи до 1770 года, когда была напечатана Миллером. Труд Татищева не имел никакой помощи в этих предшественниках; некоторое руководство доставили ему только немецкие ученые академики, начавшие тогда заниматься вопросами древней русской истории; в целой работе он был представлен самому себе и приступил к ней весьма рационально, стараясь прежде всего собрать документальные свидетельства древних летописей. Он делал свод этих известий и сопровождал их обширными комментариями, где много любопытных опытов исторической критики. Татищев также принадлежит к тесному ученому кружку Феофана, хотя имел репутацию большого вольнодумца. Исторический труд Татищева в свое время также остался неизданным. — Бурные события и крутые меры реформы не могли не возбуждать недовольство между приверженцами старого порядка. В литературе это выразилось только отрывочно, и конечно не в печати, которая была делом еще только правительственным и церковным, а в рукописных памфлетах, авторы которых иногда решались даже заявлять их официально. В числе таких противников реформы был М. П. Аврамов (1681-1752), при Петре директор типографии, близкий к самому царю, потом впавший в ханжество и увидевший в реформе дело, опасное вере. Он сдружился с врагами Феофана, подавал свои проекты всем правительствам, от Петра до Елизаветы; его заточали в монастырь, ссылали в Охотский острог, но он продолжал восставать против новейшего вольнодумства, наконец, грозил даже тем, кто „диадиму на себе носит“, и кончил жизнь в „безвестном“ отделении Тайной канцелярии. Ранее Аврамова, книгописец Григорий Талицкий написал (в 1700 г.) „тетрадки“, где говорилось о пришествии в мир Антихриста, и по вычислениям выходило, что Петр и есть Антихрист; „тетрадки“ встречены были с большим сочувствием не только в народе, но и в среде высшего духовенства. Талицкий хотел вырезать свои тетрадки на дереве для большого распространения, но был схвачен и сожжен, вместе с его другом Савиным. По этому поводу Стефан Яворский написал книгу: „Знамена пришествия Антихристового и кончины века, от писаний Божественных явленна“ (1703). Но убеждение, что Петр — Антихрист, крепко держалось в расколе: в одной раскольничьей лицевой (т. е. иллюстрированной) рукописи Толкового (т. е. с толкованиями) Апокалипсиса Петр изображен Антихристом, а антихристово воинство предоставлено солдатами в военной форме петровского образца. Из раскольничьей среды вышла также известная народная картинка: „Мыши кота погребают“, в которой несомненно заключается сатира на Петра и его обстановку. Вражда к Петру между приверженцами старины и в расколе не была, однако, мнением целой народной массы: напротив, при всех тягостях, падавших на народ в его время, народный инстинкт угадывал в Петре великую силу и понимал его подвиги на пользу государства: исторические песни его времени относятся к нему сочувственно.

Литературная жизнь нового, „послепетровского“ характера, стала складываться только в половине столетия. Все еще слишком мало средств школьного образования: немногие наличные школы были очень разношерстные и несогласованные. Знание иностранных языков внушало, однако, интерес к иностранной литературе; мало-помалу развивается тот книжный



интерес, с которого начинается литературная деятельность. Люди, затронутые этим интересом, были на первый раз немногочисленны; все они были на счету и происходили из самых различных слоев общества. Так, из Астрахани был родом попович Тредьяковский; из Архангельска происходил крестьянин Ломоносов; к дворянскому сословию принадлежит учившийся в кадетском корпусе Сумароков. В. К. Тредьяковский (1703-1769) начал свое учение в Астрахани у капуцинских монахов, был года два в Славяно-Греко-Латинской академии, затем „убежал“ из Москвы и отправился в Голландию, где его приютил русский посланник граф Головкин; но его тянуло дальше и, „шедши пеш“, он добрался до Парижа, который его окончательно очаровал, как и французская литература. Вернувшись в Россию, он был переводчиком при Академии Наук, потом профессором элоквенции, и стал чрезвычайно плодовитым писателем и переводчиком. Из своей учености и увлечения французской литературой он построил литературную теорию, которая была у нас первой формальной программой псевдоклассицизма. Его собственные опыты в стихотворстве стали надолго знамениты своей неуклюжестью; тем не менее большой заслугой его было то, что он впервые поставил вопрос о правильном русском стихосложении: он начал, по старому обычаю, силлабическими стихами, но скоро понял, что настоящей формы русского стиха надо искать в нашей народной поэзии. Его представление об истории поэзии было совершенно псевдоклассическое. Величайшие образцы всех родов поэзии дали греки и римляне; затем были века варварства; поэзия возродилась у новых европейских народов по тем же древним образцам, которые поэтому обязательны и для нас. Чтобы основать литературу, достаточно следовать этим образцам. Объясняя свойства эпоса, лирики, драмы Тредьяковский сам пытался писать разнородные стихотворные произведения, даже трагедии, перевел наставление о поэзии Горация (прозой) и Буало (стихами), и стихами перевел даже написанного прозой Телемака. Биография М. В. Ломоносова (1711-1755) известна. Какой-то необычный инстинкт тянул сына поморского рыбака к школе; уже взрослым юношей он находит эту школу в Москве, потом в Петербурге, наконец, за границей. В Москве его школа была церковно-схоластическая, за границей — научно-техническая (металлургия); но сила собственного ума и возможность шире взглянуть на область науки в Германии (под руководством Христиана Вольфа) создали его широкое научное мировоззрение и вместе потребность литературной деятельности. Пушкин назвал Ломоносова первым нашим университетом, и название это верно по многосторонности его дарований и знаний, в которой он не имел тогда равного: не мудрено, что он стал в литературе предметом поклонения, которое удержалось неизменно до начала нынешнего столетия. Его считали великим ученым и великим поэтом. Действительно, в то время не было другого русского ученого, который вполне стоял бы на уровне европейской науки; в первый раз на русском языке высокие предметы науки излагались с такой ясностью и изящной простотой, как у Ломоносова, великое, почти религиозное уважение к науке было господствующей чертой его мировоззрения. По обычаю времени, он писал оды и похвальные слова, но в этих произведениях всегда бывала серьезная мысль или целые трактаты научно-общественного содержания. В его взглядах на русскую жизнь неизменной мыслью была первостепенная важность знания; величайшим и единственным героем его был Петр Великий. Поэтом Ломоносов, собственно говоря, не был; у него не было свободного лирического вдохновения, но он находил настоящее поэтическое одушевление в тех возвышенных идеях научных и патриотических, какие им владели, и его одушевление захватывало читателей. Позднейшему читателю и критику его поэтические творения могут казаться слишком высокопарными, преувеличенными, неестественными; но должно вспомнить, что образованное русское общество того времени еще переживало отголоски времен Петра, и Ломоносов отвечал тому общественному чувству, которое радовалось новым успехам и новой славе России; еще не было тонкого художественного вкуса и несколько резкие тоны панегирика не бросались в глаза. В академии Ломоносов всегда горячо стоял за интересы русской науки и пользы русского народа и не однажды с раздражением, переходившим даже меру справедливости, восставал против всего, в чем виделся ему ущерб славе и пользам русской нации. По своим научным

изучениям он был естествоиспытателем; но начинавшаяся литература требовала много трудов, для которых еще не было делателей, и Ломоносов становится не только поэтом, но и историком, исследователем языка, техником, занимается вопросами народного хозяйства и быта и т. д. Третий знаменитый писатель того времени был А. П. Сумароков (1718-1777); он был прославляем современниками и ближайшим потомством как одно из светил русского Парнаса, и эта слава может дать понятие о положении тогдашней литературы. У него было известное легкое дарование, весьма плодovitое, но весьма поверхностное. Он очень рано вступил на литературное поприще, и первые успехи его трагедий, на придворной сцене, перед слушателями очень мало избалованными, исполнили его величайшей самонадеянности. Чрезвычайно самолюбивый, он вообразил себя создателем и главой русской литературы. Его школа была невелика и состояла из некоторой начитанности во французской литературе; законодателем литературы был для него Буало, пределом совершенства — Расин, Корнель, Мольер и особенно Вольтер, рядом с которым ему нравилось ставить свое имя, так как он был писателем „во всех родах“ и думал, что во всех родах дает образцы русским писателям. Но его трагедии, в которых он любил брать и русские сюжеты, были неумелыми копиями с французских, драматические эффекты не раз выходили у него простой нелепостью; его комедии — обыкновенно грубоватые фарсы на однообразные темы. Наиболее живым из его произведений остаются те, где проходят сатирические картинки русского быта; его злейшими врагами и предметом его усердных обличений были подьячие. Деятельность трех названных писателей совершалась главным образом во времена императрицы Елизаветы; это были известнейшие имена тогдашней литературы. Времена Екатерины II открывали для литературы новый простор и вызывали новых людей. Сама императрица давно увлечена была „философскими“ идеями века и, вступив на престол, нашла не только литературный, но и практический путь для их развития: быть представительницей „просвещения“ отвечало и ее личным вкусам и самолюбию, и политическим соображениям, так как нужно было привлечь общество на свою сторону и, заставив забыть прошлое, начать славное царствование. Она сама вскоре предалась литературным трудам, переводила „Велизария“ Мармонтеля, вместе с приближенными, во время путешествия по Волге, работала над знаменитым „Наказом“, который надолго остался авторитетным собранием идей эпохи просвещения различных предметах управления (главнейшим его источником послужил Монтескье). В то же время она приняла участие в легкой нравоописательной и сатирической журналистике, позднее написала длинный ряд драматических пьес, особенно комедий. Наконец, она вела обширную (французскую) переписку с европейскими философами, как Вольтер, Дидро, Циммерман, и представителями литературных кругов, как госпожа Жоффрен и в особенности Мельхиор Гримм. В 1783 г., при ее ближайшем интересе, учреждена Российская академия, президентом которой была княгиня Дашкова и в трудах которой Екатерина принимала также живейшее участие (здесь печатались ее „Записки по русской истории“, а также „Были и небылицы“). Важной мерой для развития книжного дела было разрешение вольных (т. е. частных) типографий. В конце царствования открылась систематическая, хотя по размерам ограниченная деятельность по учреждению народных училищ. В другом отношении важным фактом было основание Вольного (т. е. опять частного) Экономического общества, как поощрение общественной инициативы. При тогдашнем складе русского общества личные вкусы императрицы были ободряющим примером; литературная производительность с шестидесятых годов XVIII века, сравнительно с прежним, чрезвычайно возросла. Первые годы царствования Екатерины II подавали самые светлые надежды. Особенно сильное впечатление произвел созыв депутатов в комиссию о составлении нового уложения; сама она гордилась „Наказом“. В кругу образованных людей должны были с удовольствием увидеть ее особенный вкус к литературе — дело небывалое, тем более что этот вкус был настроен в просветительном и гуманном направлении. В эпоху „Наказа“ сказалось особенное оживление в литературе: появилось вдруг несколько небольших журналов, которые намеревались давать нравоучительное и нравовоспитательное чтение. Главными из них были

два: „Всякая всячина“ Козицкого, где участвовала своими трудами сама императрица, и „Трутенъ“ Новикова (другие: „Адская почта“ Эмина; „И то, и сие“, „Парнасский Щепетильник“ Чулкова; „Смесь“, „Поденщина“ — Тузова и т. д.). Образцом служили иностранные издания подобного рода, особенно знаменитый „Spectator“ Аддисона, из которого русские нравоописатели брали иногда целиком. Все эти издания существовали недолго (1769-1770), и в их истории любопытно столкновение мнений между журналами Козицкого (статьи императрицы Екатерины) и Новикова. „Всякая всячина“ настаивала на умеренном изображении пороков; „Трутенъ“ искал сурового изобличения. По-видимому, это последнее вызвало недовольство императрицы, но в 1722 г. Новиков начал в том же духе издание „Живописца“, имевшего большой успех. На этот раз Новиков хотел найти опору своей сатире в произведениях самой императрицы, посвятив свое издание автору комедии „О время“. Предмет сатиры Новикова был частью давно уже намечен — легкомысленное пристрастие ко всему иностранному, взятки и казнокрадство; но было много нового и сильного в его живой сатире, и если она часто не договаривала, ее сдержанность была видимо вынужденная. Он прямее, чем кто-либо из тогдашних писателей, восстает против безобразий крепостного права и изображает тяжелое положение крестьян; от современной испорченности он обращается с сочувствием к старине и старинным добродетелям. Первые комедии императрицы: „О время“ и „Именины госпожи Ворчалкиной“ (1772) имели большой успех, и это возбудило в Екатерине пристрастие к драматической форме, особливо к комедии. Ею написано до тридцати пьес, которые не все напечатаны: кроме комедий, это были оперы, пословицы и драматические хроники из древней русской истории, в подражание „Шекспиру“, которое, впрочем, состояло только в том, что пьесы писались „без соблюдения театральных правил“. Три комедии: „Шаман сибирский“, „Обманщик“ и „Обольщенный“, направлены были против начинавшего распространяться мистицизма и масонства: другие комедии представляют довольно безобидную сатиру нравов, восстающую против суеверия, ханжества, невежества и т. п. Пьесы не имели художественного значения, но любопытны чертами быта и нравов. Затем императрица писала аллегорические сказки — о царевиче Февее и царевиче Хлоре; собрала „выборные российские пословицы“; составляла педагогические книжки „Были и небылицы“; писала „Записки“ по древней русской истории, которую изображала оптимистически. К концу царствования настроение императрицы совершенно изменилось. С одной стороны, с годами остывал прежний философский ее идеализм, с другой, она была испугана взрывом французской революции: тогда господствовало мнение, что источником революции была именно свободомыслящая философия, которую некогда императрица так ревностно поощряла. Это увеличило ее нетерпимость ко всякой свободной мысли. Не то мы видим в начале правления, когда, как сказано выше, ее великодушные идеи, ее стремления к просвещению и справедливости, в более образованном кругу оказали значительное и благотворное действие на умы, что и обнаружилось небывалым прежде оживлением литературы. Правда, основной фонд литературного содержания не был велик; общество, которое до тех пор жило только по официальным указаниям, не могло вдруг приобрести самостоятельность (хотя иногда думало, что имеет ее), необходимую для нормального развития литературы; но во всяком случае, в тесном круге тогдашнего образованного общества началось известное возбуждение, и в течение последних десятилетий XVIII века успели даже выразиться некоторые особенные направления образованной мысли. Самым крупным лицом в области поэзии был Г. Р. Державин (1743-1816), прославленный певец Фелицы, поэзия которого была предметом безусловного удивления до времен Пушкина, впервые ограничившего прежнюю ее оценку. Державин несомненно владел крупным и оригинальным талантом, который в особенности подходил к его задаче — превозносить обоготворяемую им повелительницу, подвиги ее воинов, мудрость правления, — а вместе высказать свою нравственную философию, во вкусе века, слегка скептическую, но не весьма определенную. Его дарование умело стать выше прежней, рутинной оды, какие писали его предшественники и продолжали писать современники: он внес в оду известную, конечно все-

таки искусственную, простоту, которую приняли тогда за подлинную и которую он хотел дать натянутому строю оды, некоторую естественность и реализм. Фантазия Державина была широкая и бурная, но слишком часто ему вредил недостаток чувства меры; возвышенный тон переходил легко в высокопарность и напыщенность. Знаменитая ода „Бог“ казалась современникам вершиной поэзии; в действительности в ней слишком много этой отвлеченной высокопарности и, может быть, мало настоящего религиозного чувства. Его философия была житейская философия века: надо быть справедливым, честным, но не очень заботиться о мудреных вопросах и спешить пользоваться благами жизни. Как человек, он не мог не внушать уважение, потому что в разных высоких положениях, какие он занимал, он хотел стоять за правду, впрочем, портя эту заслугу неуживчивым самомнением. Свою поэзию он поставил очень высоко, но вместе — крайне тесно и односторонне. Основа его теории была, по-тогдашнему обычаю, псевдоклассическая, хотя смягченная некоторыми новыми литературными веяниями: он обращался к самим древним классикам, знал немецких поэтов, увлекался Оссианом и под его влиянием находил „бардов“ у древних славян. Но поэзия, в его глазах, не есть независимая сила и творчество человеческого духа. Его предшественник Тредьяковский изображал некогда поэзию как приятную забаву, которая может служить в литературе „фруктами и конфетами на богатый стол по твердых кушаньях“; Державин восхвалял Фелицу за то, что поэзия любезна ей, „как летом вкусный лимонад“. При этом несложном взгляде Державин не затруднялся „прибегать к своему таланту“, когда нужно было достигнуть каких-нибудь личных выгод хвалебной одой сильному человеку. Так, рассказывает он сам в своих записках, из которых мы узнаем, что Екатерина была очень довольна изображениями Фелицы, написанными тогда, когда Державин был еще далек от двора. Впоследствии, когда он находился уже в ее ближайшей обстановке, она „неоднократно, так сказать, упрашивала его, чтобы он писал вроде оды Фелицы“, но он не написал, потому что не было уже „воспламенения“, когда он ближе узнал характер и факты правления. Недостаток вкуса сказался у Державина особенно впоследствии, когда он, в старые годы, писал свои нескладные драматические произведения. Во времена Екатерины, когда действительно совершались громкие военные и политические дела, ода еще могла сохранять свой смысл не только как придворное приветствие, но и как популярное истолкование событий, и оды писали почти все сколько-нибудь заметные писатели, даже тот И. И. Дмитриев (1760-1837), который в сатире „Чужой толк“, составившей ему великую славу, осмеивал одоносцев. Едва ли не самыми нелепыми, по уродливой напыщенности, были оды также славного в свое время стихотворца В. П. Петрова (1736-1799). Как образец легкой шутилой поэзии, славилась „Душенька“, поэма И. Ф. Богдановича (1743-1803), которую восхвалял еще и Карамзин: это была переделка старинной повести Лафонтена, взятой из Апулея. Поэма Богдановича была написана тяжело, ее остроумие грубовато, и успех ее доказывает вообще художественный вкус: немного было нужно, чтобы понравилась новинка, покинувшая напыщенную риторику обычного стихотворства для шутки и забавы. В первые годы царствования Екатерины выступил писатель, получивший крупное значение в русской литературе — Д. И. Фонвизин (1744-1792), в особенности оригинальный в двух своих комедиях: „Бригадир“ и „Недоросль“. Это были первые комедии с настоящим русским бытовым содержанием и живым, реальным языком. Как вообще литературные формы того времени были скопированы главным образом с французских, так и в комедиях Фонвизина очевидно влияние французских образцов, не только в приемах постановки, но и в подробностях (так, например, с французского взято известное, по-видимому, чисто русское рассуждение госпожи Простаковой о географии); но в них были, однако, и подлинные русские черты, что и доставило им в свое время великий успех. Фонвизин хотел быть не только комиком, но и моралистом; самую слабую часть его комедий составляют рассуждения добродетельных лиц, но и те в свое время нравились, потому что это были начатки суждений об общественной нравственности, а XVIII век любил вообще рассуждать о морали. Фонвизин осуждал дурное воспитание, но оставались неясны средства воспитания хорошего; он осуждал пристрастие к французскому языку и перенимание



французских обычаев, но причины этой подражаемости опять не видны. Несколько раз он был за границей и с великим самомнением и грубыми насмешками говорил о французском обществе, нравах, даже литературе (забывая, сколько сам был последней обязан): это не лучшая черта его литературной деятельности. Ко второй половине царствования Екатерины драматическая литература очень развилась. Еще действовал Сумароков; его продолжателем в драме явился Я. Б. Княжнин (1742-1791), „переимчивый“, по верному замечанию Пушкина, усердно следовавший псевдоклассическим образцам; его трагедии („Дидона“, „Ярополк и Владимир“, „Владисан“, „Титово милосердие“), составившие его славу современников, повторяли, даже просто переводили Расина, Корнеля, Вольтера, Метастазия и пр. ; не более самостоятельны были его комедии — переделки с чужих образцов, которые, впрочем, Княжнин старался приновлять к русским нравам, хотя все-таки не умел удалить условностей французской комедии (интриган-слуга и т. п.). Нелепость простого повторения французской комедии, как это бывало у Сумарокова, давно уже указывал В. И. Лукин (1737-1794), который в своих комедиях, все-таки заимствованных с французского, делал опыты таких переложений на русские нравы. За псевдоклассической комедией перешла теперь и „мещанская комедия“: еще при жизни Сумарокова была переведена „Евгения“ Бомарше, и хранитель „русского Парнаса“ с великим негодованием обрушился на этот новый „пакостный род слезных комедий“. Тем не менее он утвердился и даже стал модой, потому что вместе с „комической“ оперой все-таки расширял область драмы и давал место изображениям народной жизни. К этому роду принадлежат некоторые пьесы императрицы Екатерины, „Анюта“ Михаила Попова (1722), пьесы М. Матинского, Прокудина-Горского, „Мельник“ А. О. Аблесимова (1742-1783); „Яга-Баба“ и „Калиф на час“, князя Д. Горчакова. В конце столетия пользовались большой известностью пьесы М. И. Веревкина (1733-1795), у которого есть черты настоящего комизма и верного изображения нравов, Д. В. Ефимьева (1768-1804), А. И. Клушина (1763-1804), издававшего сатирический журнал „Санкт-Петербургский Меркурий“, П. А. Плавильщикова (1759-1812), знаменитого в свое время актера, а также образованного писателя. В смысле общественном, единственным после Фонвизина крупным произведением тогдашней комедии была „Ябеда“ в стихах, В. В. Капниста (1757-1824). Это был по своему времени весьма образованный и остроумный человек, с общественными интересами, любитель латинской поэзии, друг Державина. Его „Ода на рабство“ (против рабства) могла быть напечатана только в 1806 г., в его „Лирических стихотворениях“. „Ябеда“, то разрешаемая, то запрещаемая при императоре Павле, была представлена в первый раз в 1798, и потом явилась вновь на сцене уже при Александре I. Это — весьма яркая и желчная картина старинной общепринятой судейской продажности и крючкотворства. В подражание „Ябеде“ написана была комедия Судовщикова, „Неслыханное диво, или Честный секретарь“. Та же потребность ввести в литературу изображение русского быта внушила Василию Майкову (1728-78) комическую поэму „Елисей, или Раздраженный Вах“: изображения весьма грубоваты, но многое из народного быта и языка схвачено удачно. Некоторым исследователям казалось, что подобные произведения представляют особое народное направление в литературе времен Екатерины, в отличие от подражательного: в действительности этого не было, потому что нередко одни и те же писатели могли быть причислены к обоим направлениям. Внимание к народной жизни, заботы о введении в литературу национального элемента начинаются притом с первых шагов новой литературы: Тредьяковский указывает основу для правильного русского стихосложения в народной поэзии; Сумароков, при всем желании быть российским Расином и Вольтером, усиливается писать песни в народном стиле; Ломоносов более серьезно ставит вопрос о народной жизни в „Записке о размножении русского народа“; в сатирических журналах конца шестидесятых и начала семидесятых годов („Трутень“ и „Живописец“ Новикова) находятся эпизоды, которые говорят об интересе к народной жизни и верном ее понимании и т. д. Одним из любопытнейших свидетельств этого интереса к народности являются с конца семидесятых годов многочисленные песенники, начиная в особенности с знаменитого песенника Чулкова

(позднее Новиковский). В действительности народная песня продолжала жить даже в быту высших классов, по-видимому, без перерыва от времен московской старины: простота нравов, жизнь в поместьях среди народа, недостаток других развлечений делали народную песню в ее живом, подлинном виде весьма любимым удовольствием, которое приносилось и в барский быт в столицах. При дворе императрицы Елизаветы бывали официальные песенники, был даже придворный малорусский бандурист; в среднем кругу это было также любимое удовольствие. По всей вероятности, существовали издавна письменные сборники; таким был в первой половине столетия знаменитый сборник Кирши Данилова. Сборник Чулкова, где рядом с русскими помещены и малороссийские песни, по-видимому, имел в основе сборник рукописный. Искусный стихотворец в ложноклассическом роде, И. И. Дмитриев, издал также сборник народных песен, постаравшись, впрочем, выгладить (т. е. испортить) их по книжному стилю; в 1790 году явился известный сборник песен Прача, где они были положены на музыку; на народный стиль покушался даже Державин. Очевидно, в этом вкусе, для которого не могло быть иностранных образцов, сказывалось инстинктивное влечение к народным элементам поэзии; в период предполагаемой „оторванности от народа“ он был прямым ее опровержением. Эти влечения к народному вообще не были тогда формулированы, но они представляли постоянно действовавшую силу, которая, с успехами науки и литературы, расширялась, и в начале нового века стала определенной и сознательной. Как историческая наука с восемнадцатого века восстанавливала древность, забытую в Московском периоде, так этот интерес к народности собирал из уст народа и мало-помалу вводил в литературу ту народную поэзию, которая в старом периоде, с XI века и до второй половины XVII века, даже во времена тишайшего царя Алексея Михайловича, предавалась только проклятию и истреблению. — В числе общественных и литературных явлений, вызванных упомянутым умственным возбуждением в правление Екатерины, особенно выдвинулось движение масонское. Так называемый масонский „орден“ возник, как деятельное общественное явление, в начале XVIII века в Англии. Каково бы ни было его происхождение, он приобрел тогда характер замкнутого общества, принявшего своим принципом личное нравственное совершенствование, помощь братьям, христианское благочестие, но с полной терпимостью ко всем христианским исповеданиям. Общество настаивало на глубокой тайне своих учений и обрядов; члены общества узнавали друг друга по особым знакам; в собраниях — „ложах“ — совершались символические обряды. Орден, имевший форму собрания рабочих-каменщиков, возводил свое начало к строению Соломонова храма, от времен которого велось будто бы придание масонского учения и символического обряда. Из Англии масонство мало-помалу распространилось в виде тайных обществ по всем странам Европы, везде удерживая свою таинственность, тесную солидарность „братьев“, но в конце концов видоизменяя свои учения. Так называемое „английское“ масонство всего более сохранило первоначальную простоту; несколько более сложно было „шотландское“; в своих дальнейших разветвлениях на материке масонство все более осложнялось новыми прибавками, т. е. выдумками в учении и обрядах. Для выдумок было достаточно поводов уже в предполагаемой библейской древности ордена: развивалась, с одной стороны, обрядность, придумывались новые высокопарные титулы начальствующих „братьев“; предание о сохранении ордена со времен Соломонова храма разрабатывалось привлечением сюда же таинств египетских, халдейских, греческих и т. д.; принято было, что хранителями орденой тайны были в средние века рыцари Храма (отсюда масонское „тамплиерство“) и пр. Так как религиозное учение ордена отдалялось от официальной церкви, допуская, например, полную терпимость, не придавая значения церковной обрядности и противопоставляя ей свою собственную, то являлся также большой простор для развития символизма и мистики. Наконец, в число хранителей орденой тайны были включены средневековые мистики и алхимики, и во второй половине XVIII столетия, всего больше в Германии, развилась особая форма масонства, под названием „розенкрейцерства“, или братства Розового креста (Rosenkreuzer, Rose-Croix). Начало русского масонства, по преданию,

относится к временам Петра Великого; более достоверны известия о русских масонах при императрице Анне и Елизавете; но главным образом распространение масонских лож, и весьма значительное, относится ко временам Екатерины II. Первым ревностным их адептом стал известный кабинет-секретарь и частью литературный сотрудник императрицы И. П. Елагин, который вступил в сношения с главной английской ложей в Лондоне и получил от нее титул гроссмейстера русской провинциальной ложи. Под его управлением ложи стали размножаться, особливо в Петербурге и в Москве; сам он ревностно предался делу, старался собрать сведения об учениях ордена, о существующих „системах“, которых было тогда уже много, наконец, усиливался объединить свои познания в целое и составил большое сочинение об истории ордена, которая должна была вместе дать его вероучение. Работа предназначалась, конечно, только для „братьев“, составляла тайну и не могла быть издана. Это наивная компиляция всякой таинственной премудрости, символики и мистицизма, какую Елагин мог набрать из книжных и рукописных масонских источников, особливо, кажется, французских. В разгар движения, когда умножались ложи и в них проникали разные „системы“, когда русские „братья“ ревностно заботились о прочном становлении ордена на русской почве, они усиленно старались привлечь в свой круг даровитого человека, на которого, видимо, возлагали большие надежды для своего дела. Это был Н. И. Новиков (1744-1818). С обычным скудным образованием того времени, но с живым деятельным умом, Новиков рано обратил на себя внимание, работал при комиссии о составлении уложения и был великим поклонником либеральных начинаний императрицы. В 1769-1770 г. он издавал сатирический журнал „Трутень“, в 1772-1773 г. — „Живописец“, и в скромных рамках тогдашней сатиры успел высказать серьезное понимание положения русской жизни, не всегда сходное с господствовавшим тогда панегириком, к которому императрица успела привыкнуть. Эти издания Новикова прекратились, вероятно, не по его доброй воле. В семидесятых годах он предпринял сложные и драгоценные издания материалов для русской истории („Древняя Российская Вивлиофика“ и др.), издал „Опыт исторического словаря о российских писателях“, первый несколько обширный опыт истории литературы. В те же годы он задумал учреждение народных школ на частные средства и успел привлечь к этому делу участие общества. Этот ученый по-тогдашнему человек, любитель просвещения и организатор, казался необходимым для масонского дела, и Новиков действительно был привлечен в орден. В начале он отнесся к делу очень осторожно, но потом ревностно предался ему, встретив людей, разделявших его просветительные взгляды. В 1779 г. он переехал в Москву и развил здесь обширную издательскую и образовательную деятельность. Дружба с И. Г. Шварцем (умер в 1784 г.), профессором Московского университета и мистическим идеалистом, окончательно увлекла Новикова в это направление. Вместе они учредили „Дружеское общество“, к которому примкнуло много влиятельных масонов и которое, кроме издания книг, брало на себя задачи воспитания: в молодом кружке, который учился и работал под руководством Дружеского общества, были одно время Карамзин и рано умерший друг его, А. А. Петров. Эта деятельность Новикова возбудила крайнюю подозрительность императрицы Екатерины. По складу своего ума она не понимала ничего идеального и мистического; кроме того, ей не нравилась самостоятельная мысль и деятельность, ускользавшая от контроля; в предприятиях Новикова она осуждала (серьезно или несерьезно) аферу, а главное — подозревала политические замыслы, которых не было. Предприятия Новикова были уничтожены, имущество основанной им Типографической компании конфисковано, он сам заключен в Шлиссельбургскую крепость, из которой был освобожден лишь при вступлении на престол императора Павла. К кругу Новикова принадлежал в Москве писатель несколько старшего поколения, М. М. Херасков (1733-1807), в те времена куратор Московского университета. Это был плодовитый стихотворец, лирик, драматург и эпик. Знамениты были у современников его поэмы „Россиада“, воспевавшая завоевание Казани Иоанном Грозным, и „Владимир“, изображавшая крещение Руси. В своих фантастико-исторических повестях, как „Нума Помпилий, или Процветающий Рим“ (1768), он изображает господство разума и добродетели в идеальном государстве; защищая

внутреннюю религию от ханжества, он сближается со взглядами масонства, к которому впоследствии пристал. Это был лично достойный человек, немного простодушный любитель литературы, одобрявший первые опыты Фонвизина и Державина, а потом Карамзина и Жуковского. Тем же философско-нравоучительным характером отличается недавно изданное фантастическое „Путешествие в землю Офирскую“ князя М. М. Щербатова (1733-90). Главным трудом этого писателя была многотомная „История Российская“, и только недавно правильно оцененная: она написана тяжело, но по признанию новейшей критики, была в значительной мере опорой для „Истории“ Карамзина. Щербатов держался своеобразного взгляда: в рассуждении „О повреждении нравов в России“, — изданном также только в новейшее время, — он является противником крутой реформы Петра и ее излишества приписывает повреждение нравов своего времени; но этот любитель благочестивой старины был также человек французского образования и в известной мере свободомыслящий. В „Путешествии“ он дает картину идеального государства, которая была вместе с тем критикой государства наличного: религия Офирской земли — деистическая; духовной касты нет; нравы — простые и строгие, закон свято соблюдается; император не чуждается простых людей и всегда может знать об истинном положении государства. Судьба, подобная судьбе Новикова, постигла другого оригинального писателя той эпохи, А. Н. Радищева (1749-1802). Получив высшее образование за границей в Лейпцигском университете, Радищев был охвачен тем разнообразным брожением, какое отличало европейскую литературу конца века. В своей книге: „Путешествие из Петербурга в Москву“ (1790) он применял русской жизни философские идеи об общественной справедливости, о человеческом праве и достоинстве и т. п., и рядом с теоретическими рассуждениями поместил ряд картин из русского народного быта, где, между прочим, обличал ужасы крепостного права. Екатерина II, в конце царствования встревоженная событиями французской революции, увидела в книге Радищева настоящую опасность для государства: он „хуже Франклина“, писала она; она сравнивала его с Пугачевым, сама занялась обличением его преступления и передала его в распоряжение известного следователя по особо важным делам Шешковского, а затем суду. Суд приговорил Радищева к смертной казни, замененной ссылкой в Сибирь. Возвращенный при императоре Павле и снова поступив на службу при Александре I, он стал опять опасаться преследования и отравился. Вступление на престол Александра I встречено было с величайшим энтузиазмом. После только что пережитых тяжелых последних лет личность нового императора, исполненного наилучших намерений, подавала самые широкие надежды. Действительно, первые годы принесли немало правительственных мер, производивших отрадное впечатление на общество. Позже это впечатление несколько охладело, но война двенадцатого года и затем войны за освобождение Европы создали необычайное возбуждение, которое различным образом отразилось на литературе. Европейская реакция, наступившая после Венского конгресса и установления священного союза и отразившаяся у нас господством Аракчеева и обскурантов, опять подействовала гнетущим образом, но прежние патриотические возбуждения в известном круге общества еще усилились под впечатлением либеральных движений в Европе. Около 1820 г. в русском обществе, как никогда, стали распространяться идеи западного либерализма, и так как они не могли найти выражения в литературе и общественной деятельности, то стали искать приюта в тайных обществах („Союз Благоденствия“). Это возбуждение отразилось потом в первых произведениях Пушкина. На переходе от XVIII века к XIX самым крупным лицом литературы был Н. М. Карамзин (1766-1826). В своей ранней молодости он провел несколько лет под влиянием „Дружеского общества“, где в дружбе с упомянутым Петровым приобрел значительное литературное образование и интересовался нравственными вопросами. Сентиментальное направление было воспринято им как готовое внушение западной литературы. Задатки его давала уже мистическая философия круга Новикова: в этой мистике была склонность к деизму, к угадыванию законов „натуры“, к самоуглублению, к внутренней жизни души, затем открывалось обширное влияние западной литературы — Руссо и его



последователей, французских и немецких, английского романа Ричардсона, юмора Стерна. Карамзин, по природе склонный к чувствительности и меланхолии, жадно воспринимал эти влияния. Первым крупным произведением его были „Письма русского путешественника“. Свое путешествие он совершил в 1789-90 годы; он проехал Германию, Швейцарию, Францию и Англию и, живя в Париже, видел первые волнения революции. Тон „Путешествия“ — сентиментальный, иногда с легкой шуткой, во вкусе Стерна; автор с увлечением описывает красоты природы, с любознательностью присматривается к нравам. Интерес книги возвышался особенно рассказами о литературной жизни Европы. Карамзин считал долгом посещать знаменитых писателей, и в первый раз в русской литературе давал живые сведения о действующих лицах европейского просвещения. Не меньший успех имели сентиментальные повести Карамзина, как знаменитая „Бедная Лиза“, и повести исторические, в которых проявляется уже сентиментальная риторика будущей „Истории“. Конец века в западной литературе наполнен был реакцией против сухой рассудочной философии. Возникла потребность в идеализме, в узаконении непосредственной жизни сердца, в мечтательном общении с „натурой“; простая действительность забывалась, и Карамзин, в своих увлечениях, воображал себя „республиканцем“; на самом деле в общественных и политических вопросах он был в полной мере консерватором. Он был самым даровитым представителем сентиментального направления и стал у нас главой школы, где рядом с ним ставят еще Дмитриева и Озерова. Было много второстепенных писателей этого направления: В. С. Подшивалов (1765-1813), питомец Дружеского Общества; В. В. Измайлов (1773-1830), поклонник Руссо, издатель „Вестника Европы“ и „Российского Музеума“, где появлялись первые стихотворения Пушкина; князь П. И. Шаликов (1768-1852), доводивший чувствительность до карикатуры, делавшей смешным все направление; В. Л. Пушкин (1770-1830), дядя поэта, великий поклонник Карамзина, ломавший за него копья против Шишкова, автор очень известного в свое время „Опасного соседа“. В свое время очень ценили А. П. Беницкого (1780-1809), образованного, остроумного писателя и прекрасного стилиста. А. Е. Измайлов (1779-1831), сначала сентиментальный повествователь, известен был потом как издатель журнала „Благонамеренный“ и как баснописец, не без остроумия, впрочем, грубоватого. Старомодный поэт, князь Иван М. Долгорукий (1764-1823); „Бытие сердца моего“, „Капище моего сердца“) был противником сентиментального направления. Немалой заслугой Карамзина были его журналы („Московский Вестник“, „Вестник Европы“) по разнообразию содержания, в которое он вносил и вопросы политические. Наконец, он совсем устранился от литературной деятельности, отдавшись новому труду, который составил его главную славу. Первые восемь томов „Истории Государства Российского“, вышедшие в 1816 году, были редким событием в истории нашей литературы. В первый раз русская история излагалась талантливым, уже знаменитым писателем, вооруженная многосторонними исследованиями, но вместе в красивой, общедоступной форме, в тоне национальной гордости и сентиментальным красноречием, которое должно было особенно действовать в популярном чтении (в целом „История“ доведена до 1611 г.; двенадцатый том ее, по смерти автора, был издан Блудовым). Успех книги был необычайный: „История“ была настоящим откровением для массы общества, которая не знала прежних, нередко тяжелых, исследований, и всю постройку исторического издания приписывала одному Карамзину. Еще при жизни его, однако, началась критика (Арцыбашев, Полевой, Лелевель и др.), а молодой либеральный круг находил историю слишком консервативной и неправильно представляющей происхождение русского государства. Несколько позднее Н. Полевой издал несколько томов „Истории русского народа“, как бы в противовес точки зрения Карамзина. Гораздо позже стала известна „Записка о древней и новой России“, важная для определения политических взглядов Карамзина: он осуждает реформу Петра Великого и либеральные начинания императора Александра I. Новейшая критика указала, в какой большой степени Карамзин опирался на своих предшественников: немецких, как Байер, Шлёцер, Стриттер, Миллер, и русских — Щербатов. Карамзин имел

большое значение и как преобразователь литературного языка. Здесь он встретил ожесточенного противника в адмирале А. С. Шишкове (1754-1841). Этот автор „Рассуждения о старом и новом слоге российского языка“ был великий приверженец „старого“, т. е. церковнославянского, слога. Он обвинял Карамзина и его последователей в порче языка, в нарушении завета отцов и даже в недостатке патриотизма, когда они хотели приблизить литературный язык к разговорной речи, избегали тяжелой славянщины, не пугались слов иностранных и стремились сообщить языку изящество и легкость. Нападения Шишкова породили целую литературу. Сам Карамзин не мешался в полемику, которую повели его приверженцы, в особенности П. И. Макаров (1765-1804) и Д. В. Дашков (1788-1839). Отразить нападения даже в то время было не особенно трудно. Шишков предполагал, что церковнославянский и русский — один язык, и не понимал, что язык необходимо изменяется с ходом истории и распространением новых понятий. Партии выделились в два кружка: „Беседы любителей русского слова“ и Российской академии, где Шишков был президентом и где исповедовалось его учение, и образовавшегося несколько позднее „Арзамаса“, где собралось новое поколение писателей и предметом почитания был Карамзин (участниками были Жуковский, Батюшков, Дашков, А. Тургенев, Блудов, князь Вяземский и др., под конец и юный Пушкин). Спор о старом и новом слоге был последней стадией в установлении независимости русского литературного языка: в литературе послепетровской, которая впервые становилась светской, сам собой возникал вопрос о праве русского литературного языка и об его отношениях к церковно-славянскому. Решение, в первый раз данное Ломоносовым, завершилось Карамзиным и его товарищами и получило фактическую силу в произведениях нового поколения писателей: во главе его стал Пушкин. Впоследствии, впрочем, Шишков помирился с Карамзиным: Российская академия присудила последнему золотую медаль за его „Историю“. Архаизм Шишкова привлекал немногих; к нему примыкали писатели старого классического направления и противники литературных нововведений. Таковы были, например, князь Д. П. Горчаков (1758-1824), известный своими сатирами, Н. М. Шатров (1765-1841), князь С. А. Ширинский-Шахматов (в монашестве Аникита, 1783-1837). В старом классическом складе писали сатирики А. Н. Нахимов (1782-1815) и М. В. Милонов (1792-1821); в начале своей деятельности был последователем Шишкова и противником Карамзина и плодовитый драматург князь А. А. Шаховской (1777-1846), впоследствии обратившийся к романтизму. Школа Карамзина была недолговечна: стали бросаться в глаза смешные стороны чувствительности, не имевшей притом ни ценного поэтического, ни общественного содержания; а главное — в поэзии явились гораздо более значительные силы и с более жизненным направлением. В начале столетия открылась поэтическая деятельность В. А. Жуковского (1783-1852). Его первое литературное образование проходило в Благородном пансионе при Московском университете, который по своему воспитательному складу были продолжением „Дружеского общества“. В университете и пансионе действовали еще личные друзья и последователи Новикова (И. П. Тургенев — отец Николая и Александра Тургеневых, М. М. Херасков, А. А. Прокопович-Антонский и др. ). Атмосфера была нравственно-философская и литературная; здесь образовалась, отчасти по врожденным наклонностям характера, отчасти по литературным влияниям, мечтательно-романтические вкусы, которым Жуковский остался верен на всю жизнь. Его первые стихотворения, где он уже черпал из западноевропейской романтики, обратили на себя внимание тонкостью чувства и „сладостью стиха“. Его имя стало знаменитым, когда в двенадцатом году был написан „Певец во стане русских воинов“, исполненный патриотическим одушевлением. Современники не замечали странности формы, где русские воины являлись в классических вооружениях и в романтическом освещении: классическая условность еще не была забыта, к романтической начинали привыкать. „Певец во стане русских воинов“ и другое подобное стихотворение из той же поры, а также стихотворение по поводу взятия Варшавы, были почти единственными отзывами поэзии Жуковского на современную жизнь; она витала обыкновенно только в мире личного чувства, в меланхолических мечтах. Очень много

поэтического труда Жуковский положил на усвоение русской литературы западного романтизма. Под конец жизни он перевел Одиссею по изготовленному для него немецкому подстрочному переводу. Его поэзии отвечал личный характер, мягкий и доброжелательный; нежное чувство привязывало его к Пушкину, которому он оказывал немалые услуги. Последние годы жизни он провел за границей; религиозно-мистическое настроение сближало его с Гоголем. От новейшего литературного круга он был далек. В ходе литературного развития Жуковский, кроме переводных трудов, всегда изящных и расширявших горизонт русской поэзии, имел еще заслугу высокого понимания существа поэзии. Его определение поэзии отвечало всему его мировоззрению; его религиозное чувство было всегда окрашено мистической мечтательностью; он сливал жизнь земную и загробную — там откровение тайн, оттуда идут высокие внушения. Поэзия — „есть Бог в святых мечтах земли“, и с другой стороны, „поэзия — есть добродетель“. Определение было слишком личное, но во всяком случае, ставившее поэзию в самые высокие сферы нравственной жизни. Младшим современником Жуковского был К. Н. Батюшков (1787-1855), но его литературное поприще было прервано слишком рано и печально душевной болезнью, в которой он прожил последние десятки лет своей жизни. Это было живое и разнообразное дарование, не успевшее развиться до полной самобытности. В своей поэзии он все еще находится в зависимости от европейских образцов, старых и новых; но он вдумывался в чужую поэзию, сам увлекся ею и то, что было бы раньше простым подражанием, становилось его искренним, иногда глубоким увлечением. Была у него особенность и в выработке стиха; здесь, вместе с Жуковским, он был непосредственным предшественником Пушкина. Более нежная атмосфера общественной жизни в царствование Александра I, хотя испорченная, позднее, возвратом реакции, отозвалась большим оживлением литературных интересов. В это время составил свою славу И. А. Крылов (1768-1844). Он начал свое литературное поприще еще во времена Екатерины комедиями и сатирическим журналом, среднего достоинства и успеха, и лишь в зрелые годы остановился на том роде, который именно отвечал его таланту. Частью он пересказывал традиционные сюжеты басен, но много также написал оригинальных, и с первых шагов на этой дороге превзошел своих предшественников, Хемницера и Дмитриева. У него остается еще ложноклассическая манера, но вместе с тем много живого остроумия, знания русского быта и языка. По общему складу мировоззрения это был человек рассудка, довольно равнодушный к волнениям жизни, какие совершались вокруг него, недоверчивый к увлечениям, было ли их предметом общественное благо, наука и т. п.; это была умеренность, но и скептицизм, который в конце концов не внушает сочувствия. Другим весьма известным и почитаемым писателем того времени был Н. И. Гнедич (1784-1833), главнейшим трудом которого был перевод Илиады: он положил многие годы на совершение этого труда, возбудившего удивление современников, — что указывало, между прочим, как еще мало было людей, способных на серьезные предприятия подобного рода. В переводе Гнедича видна серьезная работа над Гомером, но, по старому пристрастию к ложно-классической высокопарности, Гнедич дал слишком много места церковнославянским элементам языка, употребляя иногда слова совсем неизвестные в обычной речи. В области драмы в начале столетия прославленным именем был В. А. Озеров (1770-1816): его трагедии были подновленным повторением ложно-классической трагедии, с большой легкостью стиха и искренностью чувства, а иногда и с оттенком новейшей чувствительности. В целом они искусственны и натянуты; но публика того времени не знала лучшего и трагедии Озерова имели громадный успех, особенно „Дмитрий Донской“, вызвавший патриотическое одушевление. Князь Вяземский, великий почитатель Озерова, огорчался тем, что Озерова не любил Пушкин, которого, конечно, отталкивала его напыщенная искусственность. Сам князь П. А. Вяземский (1792-1878), родственник и друг Карамзина, близко связанный с литературными кругами двадцатых и тридцатых годов, поддержавший Н. А. Полевого в первые годы издания „Телеграфа“, впоследствии совершенно разошелся с новым литературным движением и не оставил прочных следов в области поэзии, хотя был плодовитым стихотворцем; в свое время

обратила на себя внимание только его книга о Фонвизине (1848), не потерявшая интереса и до сих пор. При Александре I долго не было ни одного яркого дарования, которое могло бы овладеть умами силой творчества. Таким дарованием во втором десятилетии века явился совсем юный тогда Пушкин. Историческое значение А. С. Пушкина (1799-1837) определяется тем, что он составляет центральное явление в развитии нашей новейшей литературы. Он тесно связан с прошлым, но и завершает его; вместе с тем он первый, от кого идут корни последующей литературы. Его сила была гениальная: на последних пушкинских торжествах один из ораторов, авторитетный (хотя иногда парадоксальный) историк, не без основания сказал, что два исторических человека имели громадное влияние на развитие русского общества — Петр Великий и Пушкин. Как у того, так и другого это влияние было глубокое и разностороннее. Прежде всего Пушкин, как никто из предшественников, высоко ставил значение самой поэзии; она создается только вдохновением, ей принадлежит царственная свобода, она не ищет одобрений и не боится хулы черни; она призвана создавать сладкие звуки, но и жечь сердца людей. Этим создано было, в принципе, самостоятельное значение художественного творчества, а затем и всей литературы, как выражения свободной общественной мысли. Далее, это была избранная натура, но он был и представитель общества; требуя себе свободы во имя поэзии, он требовал ее и в смысле общественном, во имя человеческого достоинства. Отсюда вражда и подозрение, какие преследовали его всю жизнь со стороны известных кругов; отсюда великая любовь и слава, которые встретили его, еще юношу. С этими задатками гениального дарования, охватывающего громадный поэтический горизонт, и с свободой общественного чувства, Пушкин стал первым истинно национальным поэтом. В сравнении с ним кажутся чрезвычайно тесными и односторонними все прежние опыты русской поэзии, и даже впоследствии никто из русских поэтов не был способен к этой великой многосторонности, которую Достоевский называл всечеловечностью. Влияние Байрона было только преходящее; над ним возобладало спокойное поэтическое содержание, которое давало ему силу воссоздавать далекую и чужую жизнь, с ее нравами и настроением, и тем могущественнее изображать картины русской жизни, старой и современной, общественной и народной. Перед ним блекнут все предшествующие опыты коснуться русской народности. Его барское воспитание тех времен, не от него зависевшее, шло на французском языке и литературе, но впоследствии он со страстью погружался в народную поэзию, чтобы исправить недостатки своего „проклятого“ воспитания. Русская жизнь была для него предметом постоянного изучения, в ее настоящем и прошлом, в языке и обычае; отсюда становились возможны блестящие и разнообразные картины от „Руслана и Людмилы“, от „Русалки“ и „Сказок“ до „Вещего Олега“, „Бориса Годунова“, „Капитанской дочки“ и т. д. С другой стороны, ему были близки и его тревожили волнения современной жизни. В молодые годы его увлекают мечты общественной и народной свободы, дружеская связь соединяет его с вожаками либерального движения; позднее, опыты личной жизни и событий охладили его, но и теперь он продолжает искать путей для служения общественному прогрессу, хочет быть не только поэтом, но и публицистом, но не забывает прежних друзей, которым шлет приветы „во глубине сибирских руд...“. Влияние Пушкина на дальнейшее развитие литературы было весьма обширно, не столько, однако, в непосредственных, частных воздействиях, сколько в широком, общественно-поэтическом внушении. Его ближайшая школа, даже крупнейшие дарования его круга, как Е. А. Баратынский (1800-44) и Н. М. Языков (1803-46), не развили дальше его наследия; барон А. А. Дельвиг, К. Ф. Рылеев кончили свое поприще раньше; Д. В. Веневитинов (1805-27) умер слишком юным и развивался независимо, как и князь В. Ф. Одоевский (1803-69). А. А. Бестужев-Марлинский (1795-1837) увлекся в крайности романтизма и на время имел большой успех, но затем был совершенно забыт. По-видимому, великий пример Пушкина мало подействовал на ближайших современников; тем не менее только после него расширилась область поэзии, началось развитие русской повести (в исторической драме он остался непревзойденным), установился созданный им стиль и язык. Когда потом являются новые высокие создания русской литературы, можно видеть, что почва для них приготовлена была



Пушкиным. Еще ранее, чем завершилась деятельность Пушкина, в русской литературе прошел свое краткое поприще писатель от него независимый, который произвел чрезвычайно сильное впечатление, но доныне как будто остался одиноким — А. С. Грибоедов (1795-1829). Он получил по тогдашнему серьезное образование (между прочим, его руководителем был профессор Московского университета, классик и эстетик Буле), рано поступил в военную службу, где вел взбалмошную жизнь, потом жил в Петербурге, увлекался театром и театральным миром; наконец, по службе в Министерстве иностранных дел жил на Кавказе, с приездами в Петербург, в качестве русского посланника в Персии, был убит в Тегеране во время бунта персидской черни. Его литературное образование и вкусы сложились независимо от того, что делалось в кругу Пушкина, хотя, конечно, были точки соприкосновения; между прочим, Грибоедова занимали вопросы русской истории, к которым круг Пушкина (не он сам) был равнодушен. У Грибоедова была сильная наблюдательность, направленная именно на современное общество; он не остался равнодушным к либеральному движению двадцатых годов. Это была живая, страстная натура, но способная и к холодному, серьезному размышлению. Его комедия, знаменитое „Горе от ума“, осталась в ряду его произведений единственным, где сказался во всей силе его блестящий талант; она осталась единственной общественной сатирой, с которой после ничто не сравнялось в русской драме. Комедия вызывала весьма разнообразные суждения относительно ее художественного значения и ее общественного смысла; становились вопросы, отвечала ли она установленным формулам комедии или не сохранила их и обращалась в сатиру, куда направлялись общественные идеалы писателя, как мирился в нем либерализм с пристрастиями к старине. Относительно первого критика примирилась с нарушением драматического формализма ради широкой картины нравов; относительно второго она убеждалась, что к Грибоедову нельзя было бы применять тех общественных теорий, какие сложились впоследствии (в виде „славянофильства“ или „западничества“). Его общественные идеалы, — как это было и в кругу так называемых декабристов, — были тем брожением общественной мысли, которое только несколько позднее развилось в более определенные частные направления. Еще на глазах Пушкина развилась великая литературная сила, которой вскоре суждено было возыметь в литературе обширное влияние. Это был Н. В. Гоголь (1809-1852). Чистый малоросс по происхождению, прошедший юность под впечатлениями малорусской среды, мелкопоместной дворянской и сельской народной, он начал „Вечерами на хуторе близ Диканьки“, которые сразу доставили ему известность невиданной оригинальностью рассказа и шутливого юмора. Поселившись в Петербурге, где он вскоре попал в кружок Пушкина и испытал влияние личности великого поэта, Гоголь сильно расширил и углубил содержание своих жизненных наблюдений: „Вечера“ были как будто только игрой своеобразного дарования; в последующих его произведениях чувствуется высокий подъем художественных и общественных замыслов. Таковы были его так называемые петербургские повести и ряд драматических пьес, с „Ревизором“ во главе. Эта комедия произвела чрезвычайное впечатление, с которым могло равняться только впечатление „Горя от ума“ (которая, впрочем, долго не могла завоевать себе место на сцене и в полном тексте стала известной только около шестидесятых годов). Разница двух комедий в том, что Грибоедов изображал пустоту высшего круга общества и отсутствие идеалов, а Гоголь взял прямо реальную жизнь, в ее далеких, невидных захолустьях, и указал на ней глубокую внутреннюю порчу нравов и управления, восходившую, очевидно, и до высших слоев общества. Вместе с тем он изобразил эту мелкую жизнь с глубиной психологического анализа, так что в целом комедия, построенная на факте провинциального простодушия, получала для внимательного наблюдателя настоящий трагический смысл. Рядом с этим производили сильное впечатление повести Гоголя („Портрет“, „Невский проспект“, „Записки сумасшедшего“, „Старосветские помещики“, „Тарас Бульба“, „Вий“, „Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем“, „Шинель“, „Нос“, „Коляска“). Эти разнообразные сюжеты, шутливые, исторические, народно-фантастические, нравоописательные, свидетельствовали о великом разнообразии таланта и широкой

наблюдательности, а вместе с тем затрагивали общественные вопросы и нравственное чувство в такой мере, как этого еще не бывало в нашей литературе. Наконец, самым сильным из произведений Гоголя были „Мертвые души“. Но в самом расцвете таланта Гоголя его стало подтачивать мистическое настроение. Корни этого настроения лежали в Гоголе издавна и не были выяснены широким образованием, какого Гоголь не имел; оно усиливалось физической болезненностью, а также и самомнением. В школе Пушкина у Гоголя развилось возвышенное представление об искусстве; теперь понятие его о служении искусству приняло религиозно-мистический характер. Представление о „пророке“, как жреце искусства, стало у Гоголя представлением о художнике-аскете: действие искусства становилось делом душевного спасения. Это настроение, заметное уже в первом томе „Мертвых душ“, развилось в особенности в половине сороковых годов. Гоголь уверился, что его художественное призвание есть именно душеспасительное, и не усомнился издать наполненную его новыми мыслями книгу: „Выбранные места из переписки с друзьями“. Книга привела его поклонников в ужас и негодование. Гоголь порицал в ней прежние произведения, создавшие его славу, отвергал их действие, которое одно и было его исторической заслугой. Вторым том „Мертвых душ“, написанный в этом новом настроении и изданный уже после смерти Гоголя, свидетельствует об упадке таланта, подавленного мистико-нравоучительной тенденцией. Вместе с Пушкиным, Гоголю принадлежит создание новейшей русской литературы. Пушкин положил ее первую основу — идею свободной деятельности искусства, составляющей независимое проявление высших сил человеческого духа, и вместе идею нравственного долга, лежащего на литературе. Это содержание Пушкин выразил и подкрепил рядом гениальных поэтических произведений. К этому общему содержанию Гоголь присоединил изображение русской действительности, исполненное первостепенного художественного реализма, глубокой психологической наблюдательности и юмора, вызванное полусознаваемым чувством упомянутого общественного долга литературы, и вызвавшее в обществе самые одушевленные сочувствия. Это было то, чего давно жаждало русское общество; сочинения Гоголя, поражающие своим художественным богатством, стали вместе с тем могущественным орудием общественного сознания. Результаты деятельности Пушкина усвоены были в общем художественном подъеме, в усовершенствовании формы и стиля; произведения Гоголя возбудили общественное чувство, расширили литературное изображение на все слои общества — и это изображение руководилось уже не одними художественными интересами, но и чувством общественной правды и человечности. Со времен Гоголя русская повесть и роман развились до господствующего положения; на его основе с конца сороковых годов действовала плеяда тех новейших писателей, которым принадлежит окончательное установление русской литературы, занявшей в наше время почетное место в международной литературе европейской. Первые начатки русской повести, как выше указано, восходят ко временам допетровским; конец XVII и первая половина XVIII века представляют массу переводных повестей, составивших переход от старой „письменности“ к новейшей печатной литературе; большая масса переводных романов идет с шестидесятых годов XVIII столетия и их количество указывает, как выросла в обществе любовь к этой литературе, затрагивавшей (хотя еще в слабой степени) действительную жизнь и особенно жизнь чувства. В конце века появляются оригинальные русские опыты: Карамзин дает повесть сентиментальную и начатки повести исторической; перед тем в другой форме — например, в мелких рассказах сатирических журналов, поэмах, комедиях и комических операх, в „Путешествии“ Радищева — затрагиваются черты народного быта, которым, впрочем, еще долго не привелось получить более прочное место в литературе; в форме повестей из древнего мира или стран фантастических (в форме, прямо заимствованной из западной литературы) делаются намеки на современный строй общества, как у Хераскова или князя Щербатова. Сентиментальная повесть Карамзина имела подражателей, но не надолго: слащавая ее неестественность слишком бросалась в глаза. Ее сменили романтические поэмы, а затем романтические повести: романтических повествований было очень много; наиболее известными

именами были здесь Н. А. Полевой и Бестужев-Марлинский. Опыты нравоописания давали повести Булгарина (над которыми смеялся Пушкин), Бегичева, Калашникова, Погодина. С конца шестидесятых годов в историческом романе стал образцом популярной во всей Европе Вальтер Скотт: громадный успех имел, написанный по этому образцу, „Юрий Милославский“ Загоскина, где, впрочем, прибавилась еще историческая сентиментальность Карамзина; другие романы Загоскина были слабее. Не лишены достоинств исторические повести Полевого. Особняком стояли повести князя В. Ф. Одоевского, отчасти из аристократического быта, отчасти фантастические во вкусе Гофмана. Повести Пушкина давали высокие художественные образцы, но остались без особенного действия в смысле общественном; решительное влияние возымели здесь произведения Гоголя. В дальнейшем развитии русской повести и вообще всей новой литературы действовали, кроме этих общих основ, еще другие элементы, если не совершенно новые, то не достигавшие раньше той степени влияния, с какой мы встречаем их в тридцатых и сороковых годах. Это было, прежде всего, значительное расширение научных интересов, в особенности с тех пор, как впервые окрепла внутренняя жизнь университетов с притоком новых сил в лице нового поколения профессоров, довершивших свое научное воспитание за границей, под непосредственным влиянием европейской науки. Здесь было начало деятельности таких профессоров, как Грановский (наиболее типичный представитель этого научно-гуманитарного направления), Редькин, Крюков, несколько позднее Кудрявцев и др. Независимо от этого оживления университетской науки, и даже ранее, открылось сильное влияние немецкой философии, которая, особенно в учениях Шеллинга и Гегеля, сильно увлекала наиболее живые и возбужденные умы молодых поколений и была своего рода школой: она впервые ставила в русском обществе общий вопрос о философском определении целого мирозерцания, обнимавшего идеи нравственные, общественные, художественные, и становившегося сознательным руководством в жизни личной и общественной. Чрезвычайно характерно, что Пушкин, достигший своего возвышенного представления об искусстве силой своего гениального инстинкта, сочувственно встретился с теми же представлениями, которые у молодых любителей философии построены были путем теоретических изучений. Таков был сначала философский кружок князя В. Ф. Одоевского и Д. В. Веневитинова; потом, в тридцатых годах, кружок Н. В. Станкевича, непосредственным питомцем которого был знаменитый В. Г. Белинский, в своей критике (1831-1848) первый сознательный и восторженный истолкователь Пушкина и Гоголя. Из философских оснований вышло в конце тридцатых и начале сороковых годов и обособление двух главных литературных лагерей того времени, так называемых западников и славянофилов (с одной стороны, Белинский, А. И. Герцен, Т. Н. Грановский, В. П. Боткин, И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов и др., с другой — А. С. Хомяков, И. В. и П. В. Киреевские, К. С. и позднее И. С. Аксаковы, косвенно М. П. Погодин, С. П. Шевырев и др.). Различие между ними заключалось в самых основных нравственных идеях, которые, впрочем (как, например, церковные идеи славянофилов), не могли быть в то время высказаны с некоторой ясностью, — но в литературе выразилось, хотя опять неполно, в тех вопросах, какие ей были доступны, именно философско-исторических. Славянофилы извлекли из философских теорий представление об историческом предназначении русского народа и видели закон его исторической жизни в свободном и беспримесном развитии национальных данных: реформа Петра являлась нарушением этого нормального развития, порчей русской истории, изменой русской народности. Их противники думали как раз наоборот: отрицая мистическое предназначение, они полагали, что народ развивается историей, и реформу Петра считали великим актом в русской истории, хотя, быть может, и тяжелым, но неизбежным, и в результате благотворительным, выходом русского народа из патриархального быта на широкое общечеловеческое поприще. В высшей степени важным приобретением этого философско-литературного спора было стремление выяснить историческую судьбу народа. Отсюда естественно вытекала мысль о настоящем положении народа и, при философской постановке вопросов нравственных, естественно развивалась, хотя в то время, по внешним условиям

литературы, умалчивалась в печати мысль о необходимости освобождения крестьян, одинаково горячо принимаемая обоими враждующими литературными лагерями. Эти два круга представляли цвет русской общественной мысли того времени, высоко стоявшей над уровнем большинства... Интерес к народу и народности развивался и независимо от указанных литературных течений, как продолжение того естественного, инстинктивного чувства к своему народному, какое сказывалось уже в восемнадцатом веке среди ученического преклонения перед ложным классицизмом, отвергавшим народное как вульгарное. С конца XVIII века этот интерес продолжал развиваться, и в XIX веке получил сильную опору с двух сторон: во-первых, в художественной реставрации, которая была узаконена Пушкиным и частью Гоголем (в малороссийских повестях); во-вторых, в успехах научной этнографии. В этой последней сошлись разные течения: прежний, непосредственный интерес; новые открытия, например, „Слова о полку Игореве“, потом, „древних российских стихотворений“ Кирши Данилова; вмешательство научных исследований; наконец, сознательный интерес к судьбам народа, и в упомянутом философско-историческом смысле, и в смысле чисто историческом. Этнографическая любознательность, даже инстинктивная, мало освещенная научным пониманием (как, например, в трудах И. П. Сахарова), находила сочувствие и в людях более вооруженных в научном отношении. В конце концов явилась потребность поставить сознательно и научные исследования народа и народного быта. В 1845 г. выражением этой потребности стало основание Русского Географического Общества. Почти одновременно с этим начинается обильная и плодотворная деятельность целого рода замечательных ученых, историков, этнографов, археологов, наконец, беллетристов — описателей народного быта. С. М. Соловьев, К. Д. Кавелин, Ф. И. Буслаев, А. Н. Афанасьев, М. А. Максимович, И. И. Срезневский, И. Е. Забелин, Н. И. Костомаров, В. И. Даль и много других усердных работников на этом поприще положили много труда на то, чтобы раскрыть прошедшие судьбы народной жизни и современное богатство народного предания и поэзии, оставшееся наследием от древних веков народной мысли и фантазии, исследовать народный обычай, в котором сохранились не только следы древнего народного быта, но и практический бытовой смысл и т. д. Ревностное изучение было не только холодным научным разъяснением предмета; оно внушалось любящим гуманным чувством, и само его внушало. В те же годы, когда организовалось в Географическом Обществе изучение народной жизни, основано было, особенно трудами князя В. Ф. Одоевского, Общество посещения бедных, общественный смысл которого выражался его названием... Такими интересами наполнялось общественное настроение, при всех стеснениях, какие внешним образом подавляли литературу. Естественно, что присоединялось, наконец, влияние литературы европейской. Эта давняя стихия нашего литературного развития действовала теперь на новом направлении; из разнообразных течений литературы европейской наша литература выбирала те, которые отвечали возникавшим, в ее собственной среде, стремлениям и надеждам. Теперь эту роль играла литература, одушевляемая вопросами общественного характера и, в частности, социализмом. В тридцатых годах так называемый социализм привлекал уже молодые поколения: им увлекался Герцен, и это было резкое различие его тогдашнего кружка с кружком Станкевича и Белинского, которые в то время увлекались метафизическими вопросами по Гегелю, что в общественном смысле делало их консервативными и прямо равнодушными к вопросу социальному. Одно время занят был социализмом и В. П. Боткин, потом один из ближайших друзей Белинского. Впоследствии упомянутое разногласие между Герценом и Белинским совершенно изгладилось: последний отверг свою прежнюю точку зрения как грубое заблуждение, с обычной горячностью увлекся именно общественными вопросами, и в литературе искал орудия для нравственного воздействия на общество в социальном смысле. В последние годы жизни его интересовали писатели французского социализма; с другой стороны, он стал относиться менее враждебно к московским славянофилам, у которых в известной мере могли быть ему сочувственны указания на идею народного права и достоинства. Уже из этого понятно, что „социализм“ сороковых годов вовсе не был тем страшным разрушительным



учением, каким считали его, например, во время процесса Петрашевского, и каким многие считали его еще десятки лет спустя. Это была известная форма идеализма, направленного на улучшение общественных отношений, несомненно в улучшении нуждавшихся: на первом плане стояли мечты об освобождении крестьян. Это настроение молодых образованных поколений именно и объясняет, почему в конце пятидесятых годов первое заявление о крестьянской реформе встречено было в лучшей части общества с таким энтузиазмом и почему для великого и трудного дела тотчас нашлось столько ревностных и искренних исполнителей. В западной литературе, кроме теоретиков социализма, в том же направлении действовала обширная область романа и драмы: великой популярностью пользовались тогда романы Евгения Сю, Жорж Санда, Диккенса, в которых высказывалось общественное брожение, искавшее новых форм социальных отношений. Все это отразилось на развитии русской повести после Пушкина и Гоголя. Ее господствующей чертой является, во-первых, глубокий реализм, выработанный на основе Пушкина и Гоголя, собственными силами русских писателей и впоследствии произведший такое сильное впечатление в литературе европейской, когда, наконец, она познакомилась с писателями новейшего периода нашей литературы. Во-вторых, это был психологический анализ, разлагавший, между прочим, ту сложную, раздвоенную внутреннюю жизнь, которая создавалась идеальными запросами и невозможностью найти для них место в суровой, часто мрачной, действительности. Некогда образчик этого раздвоения изобразил Пушкин в „Евгении Онегине“; теперь непримиримый разлад идеала и действительности изображала вся могущественная поэзия Лермонтова, которая внесла в русскую повесть и роман долю сильного, до сих пор не вполне выясненного влияния. Наконец, третья, опять широко распространившаяся, почти господствующую черту новейшей повести составило ее направление общественное: стремление вникнуть в судьбу той обездоленной части общества и целого народа, которая несет на себе непосильную тяжесть ненормальных общественных отношений. Как ни велики были заветы, оставленные Пушкиным и Гоголем, новая литература приносила черты содержания им неизвестные; например, Гоголь, в одиночестве своего тесного круга и личной замкнутости, остался совершенно чужд тому возбуждению, какое господствовало среди лучших людей сороковых годов. Его преемники, под всеми упомянутыми влияниями, создавали ту новую повесть, которая за последнее время создала славу русской литературы, и в которой чисто русское содержание приобретало высоту общечеловеческого значения. Эти сложные возбуждения тридцатых и особенно сороковых годов принесли с собой то высокое нравственное настроение, простоту и правдивость, каким удивлялась потом западноевропейская критика. Русская повесть еще недостаточно исследована в этих ее источниках, но их разнообразие, воспринятое и развитое богатством личных талантов, дало ей разнообразное и глубоко человеческое содержание. „Записки охотника“ Тургенева, первые произведения Григоровича, Достоевского, Писемского, Некрасова, Салтыкова, затем последующая литература рассказов из народной жизни, были результатом этого полного возбуждения: нередко здесь явно слышится влияние Гоголя (как, например, в „Бедных людях“ отразилась „Шинель“), мечты об освобождении крестьян („Записки охотника“, которые с сочувствием были приветствуемы и славянофилами; „Деревня“ и „Антон Горемыка“), „сельская идиллия“ Жоржа Санда („Рыбаки“ Григоровича), отголоски социалистического романа (у Достоевского), проявления народно-поэтических элементов („Песня о царе Иване Васильевиче“ Лермонтова, поэзия Кольцова), изображения внутреннего нравственного разлада, отражавшего и разлад общественный („лишние люди“ у Тургенева и других, как продолжение Онегина и Печорина) и т. д. Как выше замечено, внешние условия литературы были тягостны, и это нередко отзывалось более или менее жестоко на личной судьбе писателей (осуждение Достоевского и Плещеева, ссылка Салтыкова, эмиграция Герцена, арест и ссылка Тургенева, постоянные цензурные притеснения), — но это не уменьшало силы движения, и дело литературы оставалось священным нравственным долгом. В этом внутреннем одушевлении был источник той простоты, задушевности и человеческой вдумчивости, которые потом удивляли европейских читателей. Когда

в наше время французские критики, недовольные успехом русской литературы во Франции, утверждали, что эта литература (Тургенев, Достоевский, Григорович и т. д.) сама воспиталась на французских идеях и образцах, то в этой вспышке национального самолюбия была доля правды — но только доля. Из французской литературы действовали у нас общественные идеи, но и это влияние было уже второстепенным фактором, потому что основное в этом направлении было самостоятельно создано в произведениях Гоголя и подкреплено общим подъемом общественной мысли. В литературной форме русская повесть, при всем интересе к повести западной, осталась самобытна. От ошибок и преувеличений романтической школы предохранял здоровый реализм, основанный Пушкиным и Гоголем. Изображения народной среды никогда не достигали у европейских писателей той выразительности и простоты, которые так легко давались русским писателям. Несмотря на весь гнет крепостного права и чиновничьего самоуправства, они не оставили в общем тоне жизни того осадка пренебрежения к народу и мещанской мелочности, какой в западной жизни, при всем развитии новейшей демократии, до сих пор уцелел от средневекового феодализма и питается современным господством буржуазии. Сила русской повести и романа была выработана собственным трудом общественного сознания, волнениями нравственного чувства и искренним стремлением к общественному благу в единении с народом. Отсутствие политической жизни заставляло сосредотачиваться, и здесь была основа сильного художественного и общественного действия. В большей мере именно влиянием литературы была обязана своим успехом „эпоха великих реформ“.